Зарубежный
XX роман
века

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1957

Jacques Remy

„SI TOUS LES GARS DU MONDE...“

Перевод с французского
И. Шехтера и *В. Мартынова*

Художник *Ю. Боярский*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Французский писатель Жак Реми (родился в 1911 году) продолжительное время сотрудничает в области кинематографии. Он автор сценариев для кинофильмов, по которым во Франции поставлено несколько картин. Реми много ездил — побывал в Италии, в латиноамериканских республиках, и поэтому так разнообразно содержание его произведений, так богат его жизненный материал.

В 1956 году известный французский кинорежиссер Кристиан Жак создал по книге Жака Реми одноименный фильм «Если парни всего мира...» И книга и кинокартина принесли Реми широкую известность.

Книга Реми «Если парни всего мира...» посвящена благородной теме — теме международной солидарности простых людей. История спасения попавшего в беду экипажа маленького рыболовного судна рассказана автором так, что в каждой строке слышится убежденный голос: «То, что объединяет людей доброй воли, — сильнее всего того, что их разделяет!» Книга Жака Реми говорит о том, как сильны «парни всего мира», стоит им только объединить свои помыслы и усилия — и самое трудное дело окажется им по плечу.

Книга держит читателя в напряжении не только стремительным развитием событий, но прежде всего волнением за судьбы ее героев — простых людей разных стран.

Без громких слов, обращаясь к жизненным фактам и положениям, писатель показывает, как общее дело, общая цель сплачивают совершенно незнакомых друг другу людей, рождают у них чувство ответственности за судьбу маленького шведского суденышка, затерянного в Северном Ледовитом океане. Объединенные общим стремлением, участники битвы за жизнь шведских рыбаков образуют то единое целое, что принято называть коллективом. Члены этого своеобразного коллектива никогда не видели (и, возможно, никогда и не увидят!) друг друга, они живут в разных странах, живут каждый своей жизнью. Но их связало воедино человеческое стремление выручить незнакомых людей из беды — и перед нами уже коллектив, воля которого заставляет отступать болезнь, отчаяние, смерть.

Книга Ж. Реми призвана убедить читателя в том, что у самых различных людей есть такое большое и глубокое чувство, которое выше обыденных обстоятельств и частных расхождений во взглядах. Это чувство — любовь к человеку, забота о его жизни, и оно может стать основой сближения.

Жак Реми нигде прямо не говорит о необходимости сплочения сил людей для борьбы за мир, но эта мысль является тем стержнем, на котором держится полный драматизма рассказ о спасении экипажа «Марии Соренсен». Людям, которые с такой самоотверженностью борются за жизнь горсточки рыбаков, ненавистна война, несущая смерть и разрушение. Люди, которые соединили свои руки, чтобы поддержать далеких товарищей, должны вместе защитить себя и все человечество от угрозы войны.

Быстро, в стремительном кинематографическом темпе переходит автор от эпизода к эпизоду; события, изображенные в повести, происходят на протяжении одной ночи; радиолюбители-коротковолновики разных стран бережно передают друг другу, из рук в руки, все растущую надежду на спасение шведских рыбаков. Но эта тонкая ниточка радиосигналов кажется такой непрочной, она вот-вот оборвется... И когда в эстафету включаются не одиночки, а государство, советское государство — только тогда могут, наконец, облегченно вздохнуть эти люди, проводящие бессонную ночь у радиоприемников. В воздух поднимается военный самолет с красными звездами на крыльях; простой русский человек в военной форме советского летчика передает спасительную сыворотку норвежскому пилоту. Эстафета доброй воли, дружбы и гуманизма принята! Деятельность советского народа совпадает с стремлением миллионов простых людей, «простых парней» всего мира.

Летом 1956 года кинофильм «Если парни всего мира...» демонстрировался — одновременно, в один и тот же день, в один и тот же час — в Париже, Москве, Берлине, Риме, Осло... Эта волнующая кинoперекличка народов, сопровождавшаяся радиоперекличкой, явилась своего рода продолжением той живой цепочки надежды и дружбы, о которой рассказывает — с некоторой сдержанностью, но с большой внутренней теплотой — книга Жака Реми.

Н. Сиденко

***21 час 50 минут (по Гринвичу)
в Северном Ледовитом океане.
Где-то западнее острова Жан Майен***

Шведское рыболовное судно «Мария Соренсен» медленно движется по спокойной глади моря. Мелкий моросящий дождик окутывает палубу сырым туманом.

В желтоватом кругу света от большого сигнального фонаря мерно шагает вахтенный. Это рослый бородатый детина; время от времени он поеживается, поднимает воротник своей кожаной куртки; сплевывает на палубу и долго любуется плевком, поблескивающим на просмоленных досках. Потом растирает его каблуком.

Корабль словно вымер.

Внезапно распахивается дверь капитанской рубки и коренастый силуэт Ларсена четко вырисовывается на фоне освещенного прямоугольника. Капитан — немолодой, широкоплечий, с резкими чертами лица, загрубевшего от солнца и ветра, — спускается по лестнице, ступеньки которой скрипят под тяжестью его шагов, проходит по палубе и, закурив на ветру трубку, скрывается в кубрике.

Двенадцать коек громоздятся одна над другой в четыре ряда. Большинство рыбаков лежит. Кое-кто уже уснул; какой-то старик через равные промежутки

времени звонко, заливисто храпит. Остальные курят, играют в карты, переговариваются вполголоса.

Капитан проходит в глубь кубрика. На нижней койке корчится от боли бледный, всклокоченный матрос. Лицо его искажено страданием. С губ то и дело срывается хриплый стон. Соседи по койке, которым он мешает спать, с беспокойством поглядывают на него.

— Тебе не лучше, Эрик? — спрашивает Ларсен, дотрагиваясь до плеча больного.

— Все хуже, — злобно отвечает больной.

— Часа три стонет не переставая, — вставляет судовой кок Мишель, чья койка находится как раз над постелью Эрика. Говоря это, он машинально поглаживает черного кота, клубком свернувшегося у него на подушке.

Ларсен наклоняется к Эрику, раскрывает на его груди рубашку, достает из кармана стетоскоп и, с помощью кока приподняв больного, выслушивает сердце и легкие. Все молча наблюдают за ним, ловят каждое движение. Чья-то трубка покатилась по полу, и снова тишина. Даже спящий перестал храпеть.

— Где у тебя болит?

Эрик показывает на бедро.

Капитан разматывает грязный бинт. Взорам присутствующих открывается гноящаяся рана. Ларсен качает головой:

— У тебя жар?

— По-прежнему, — говорит Мишель, снова накладывая повязку.

Вздохнув, Ларсен выходит из кубрика и поднимается наверх, где его поджидает сын. Когда Олаф был совсем еще ребенком, Ларсен очень любил его и с гордостью прогуливался с ним по улицам портового района. Синеглазый, с нежной кожей и золотистыми волосами, мальчик был похож на маленького викинга. Но по мере того как Олаф подрастал, он становился трудным ребенком: замкнутым, хмурым, со строптивым, неподатливым характером. Быть может, виноват тут был сам отец, не сумевший воспитать его. Кнут Ларсен хотел вырастить сына в той же строгости, в какой держали его самого. Только времена теперь переменились — по крайней мере так утверждала жена Кнута, всегда готовая принять сторону сына. И вот Олаф взбунтовался. Кнут

решил обуздать его, но это ему не удавалось, и разлад между сыном и отцом с каждым годом все углублялся. Они так и не примирились, так и не стали друзьями; между ними происходили бесконечные стычки. Дошло до того, что Кнут стал спрашивать себя, любит ли он вообще своего сына, а Олаф был почти уверен, что ненавидит отца.

На судно капитан взял Олафа своим помощником. Иначе быть не могло. Ведь Олаф все-таки Ларсен, и наступит день, когда шхуна достанется ему. Но юноша не был рожден рыбаком. Его увлекала лишь механика — неподходящее занятие для моряка... Он бредил машинами, радио, метеорологией.

Войдя в рубку, отец застал Олафа у радиопередатчика:

— КТК... Говорит КТК... Всем, всем, всем! Важное сообщение.

— Ну что ты часами долбишь одно и то же — все равно тебе никто не отвечает, — говорит Ларсен. — Не понимаю, чего ты упорствуешь.

Немного свысока Олаф начинает объяснять. Рация, которой он пользуется, — коротковолновый любительский передатчик: радиостанция на «Марии Соренсен» вышла из строя.

— Как же это так? И тебя никто не слышит? Ведь кругом столько судов!

Олаф пытается объяснить, но все это слишком мудрено для капитана. Магнитная буря иногда изолирует те или иные зоны и прекращает связь между ними и соседними рациями. Но где-то, может быть очень далеко, должны существовать такие зоны, где тебя отлично слышат.

— Ну, а из этой зоны, где нас слышно, почему же оттуда никто не откликается?

— Сам не понимаю.

Ларсен метнул на сына недоверчивый взгляд: может, Олаф нарочно так устраивает, чтобы их не слышали? Но, не успев подумать об этом, Ларсен тотчас отвергает эту мысль. Глупости, Олаф делает все возможное. Он, Ларсен, тоже оказался совершенно беспомощным — никак не может понять, что за болезнь у Эрика. Он привык сам лечить своих людей, но ему еще не приходилось сталкиваться с таким трудным случаем.

Он смотрит на сына; ему хочется поделиться с ним своими горестями, и слова уже готовы сорваться с его губ, но нелепая робость удерживает его. Так ничего и не сказав, он садится к столу, машинально прибирает бумаги, закуривает погасшую трубку. Подходит к аптечке на стене, достает оттуда медицинский справочник, усаживается и начинает листать его. Время от времени он поглядывает на Олафа. Тот сидит у передатчика, повернувшись спиной к отцу, и без устали повторяет:

— Говорит КТК... КТК... Всем, всем, всем...

Олаф догадывается о смятении отца. Его самого не оставляет чувство тревоги. Корабль в трех днях пути от ближайшего порта. С шести часов он посылает в эфир сигналы о помощи — и все впустую. Они отрезаны от всего мира. Олафу хочется сказать что-нибудь, пробить выросшую между ним и отцом глухую стену молчания, — он почти физически ощущает ее. Но нет, он не может решиться. Слишком долго прожили они, как чужие, и теперь им уже не найти путь к сердцу друг друга, а им это так необходимо. И оба малодушно молчат, замкнувшись в себе.

22 часа (по Гринвичу) в Бельгийском Конго. Деревня Зобра

Сидя у порога своей хижины, Этьен Луазо наблюдает за снующими взад и вперед женщинами. Беспокойный вечер выдался сегодня у молодого негра. При первых же схватках Мария созвала всю родню: свекровь, теток, сестер родных и двоюродных. Все пришли и расселись у ее постели, а вслед за ними набежали и остальные женщины поселка. Они то и дело проносят мимо Этьена тазы с водой, белье. Прежде рождение ребенка отмечали диковинными языческими обрядами. Этьен помнит, как его отец и дяди, в наряде из перьев, с размалеванными лицами, распевали и отплясывали под звуки там-тама. Все это давно отошло в прошлое.

Теперь Зобра — христианский центр. В селении выстроили церковь, местные жители стали одеваться на европейский манер, но колдуна все-таки не забыли. Старики верят в него по-прежнему, да и молодежь, считая, что лишняя предосторожность никогда не помешает, при-

глашает его при всех важных событиях жизни. Случается, что кюре с колдуном сталкиваются на пороге. Оба привыкли к этому, и каждый терпеливо сносит присутствие конкурента. Скандалов не бывает. Вот и сейчас колдун приколачивает к двери хижины Этьена талисманы, предохраняющие ребенка от дурного глаза. Молодой негр довольно косо поглядывает на него. Ведь говорил он теще, что не желает видеть этого лжеца. Да разве у старухи выбьешь суеверие из головы? Этьен понимает, что надо бы что-то сделать, как-то показать свое презрение, возмутиться, но сегодня не он хозяин положения. Редко мужчина так явно ощущает свою никчемность, как в тот день, когда жена рожает в первый раз. Только бы мальчик! Этьен — добрый христианин. Он знает, что бог не делает различия между своими созданиями. И все-таки он был бы очень разочарован, если бы Мария родила девочку.

Женщины входят и выходят, исполненные сознания собственной значимости. А вот и теща — огромная, с большим животом и обвисшими грудями, болтающимися под платьем из грубой бумажной ткани. Она нарочно задевает его на ходу тыквенной бутылью, доверху наполненной водой. Этьен покорно отодвигается.

Он приютился под навесом позади хижины, прямо на свежем воздухе. Здесь у него приемник, унаследованный от отца Гросса. Старый миссионер, обративший в христианство все селение, очень любил Этьена. Он взял его к себе секретарем, обучил всему понемногу и, между прочим, обращению с коротковолновым приемником. После смерти отца Гросса Этьен сберег приемник. Он часто слушает радио, испытывая при этом законную гордость владельца.

Опустившись на колени, он начинает вертеть ручки приемника. Неистовый рев и грохот наполняют воздух — колдун и женщины даже вздрагивают от неожиданности. Через несколько секунд издалека доносится концерт камерной музыки, который тотчас перекрывает гнусавый голос, а его в свою очередь грубо обрывает неприятный лязг железа.

У колдуна вырывается ехидный гортанный смешок, а каково это слышать такому защитнику прогресса, как Этьен. Окончательно выйдя из себя, он принимается отчаянно крутить ручки приемника, но из динамика

вырываются лишь еще более дикие звуки. Кажется, все стихии разбушевались в эту ночь. Такой какофонии Этьен не помнит с тех пор, как научился пользоваться приемником. Вдруг, покрывая хаос звуков, удивительно отчетливо и резко раздается голос:

— Говорит КТК... Говорит КТК... Всем, всем... Вы меня слышите?

Этьен не понимает по-английски, но сигнал СОС радиолюбителей ему знаком. Вот только ответить он не может. У него есть приемник, но нет передатчика.

Из хижины выходит старая негритянка — мать Этьена. Улыбаясь во весь рот, она успокаивает его: все идет как надо. Но в ту же минуту раздается пронзительный крик Марии. Этьен подскакивает. А мать так и покатывается со смеху. Конечно, Мария мучается. А как же! Все женщины мучаются при родах. В глазах старой женщины загораются веселые огоньки. От радости, что скоро станет бабушкой, она не может устоять на месте и, весело хихикая, семеня ногами, убегает в дом.

Снова голос Олафа повторяет с поразительной четкостью:

— Говорит КТК... КТК... Всем, всем, всем. Вы меня слышите?

Этьен вскакивает.

Он бежит по прямым улицам селения, аккуратно проложенным между двумя рядами белых хижин.

На центральной площади он останавливается у железной ограды, перед которой стоит джип. Этьен проходит по саду с пышной тропической растительностью и останавливается у каменной лестницы. На террасе двое мужчин, развалившись в креслах, курят длинные сигары. Обоим лет по пятьдесят, оба грузные, пузатые; весь интерес в жизни сводится у них к деньгам и вину. Заваленный бумагами, заставленный ликерными бутылками стол подтверждает это. Плантатор Дорзит, хозяин дома, выпивает со своим другом Ван Рильстом, закупщиком хлопковой компании, по случаю удачной продажи урожая со своих плантаций. И тот и другой порядком захмелели и никак толком не поймут, чего хочет от них Этьен. Молодой негр терпеливо объясняет: он поймал сигнал бедствия, ответить на него не может, но недалеко отсюда, на шахте в Титюи, есть достаточно мощный передатчик,

который сумеет связаться с таинственным КТК. До шахты двадцать километров. На машине доехать совсем недолго. К счастью, от выпитого вина оба приятеля в веселом настроении. Сигнал бедствия кажется им занятной шуткой, а поездка в Титюи развлечением. Покачиваясь, громко хохоча, рыгая, идут они к джипу, дружески похлопывая Этьена по спине. С большим трудом Ван Рильст первым залезает в машину. Дорзит хотел было последовать его примеру, как вдруг вспомнил, что надо прежде оправиться, и, сняв ногу с подножки, решает облегчиться прямо посреди улицы. По площади проходит негритянка. Дорзит кричит ей вдогонку непристойность. Не оборачиваясь, женщина отвечает такой же грубостью. Ван Рильст прыскает со смеху. А Этьен еле сдерживает нетерпение. Каждая потерянная секунда кажется ему преступлением перед теми, чей призыв о помощи он поймал.

22 часа 10 минут (по Гринвичу) на борту «Марии Соренсен»

Олаф перестал посылать сигналы. К чему они нужны, если никто не отвечает?

Отец по-прежнему молча сидит за столом. Теперь Олаф достает из кармана трубку, степенно закуривает. Зажав мундштук в зубах, положив подбородок на сцепленные руки, юноша смотрит прямо перед собой, на деревянную переборку; но на ее месте воображение рисует ему знакомый женский образ: светлые пушистые волосы, крупные неровные белые зубы, круглый подбородок, нескладные руки с короткими пальцами, с широкими, как у мужчин, ладонями.

Ларсен откладывает в сторону медицинский справочник и, взглянув на Олафа, пожимает плечами: дурак, размечтался не вовремя, а на судне больной. Придется выходить из положения одному. Так оно и должно быть, раз он капитан, но Ларсен, конечно, мог бы рассчитывать на большее понимание со стороны сына. В молодости, когда отец брал его с собой в море, он вел себя иначе. У Ларсенов тогда не было собственной шхуны — плавали на чужих.

Капитан встает из-за стола, подходит к аптечке. Чертов ящик! Всегда в нем беспорядок. Ларсен снимает его со стены, переворачивает, и пузырьки, коробочки, баночки, таблетки, ампулы, бинты вперемешку рассыпаются по столу. В этих проклятых пакетах никогда не бывает того, что нужно. Ларсен ищет список — опись медикаментов, которые необходимо иметь на борту каждого корабля. Ну, вот он, этот листок; им так давно никто не пользовался, что края склеились и приходится отдирать их, чтобы прочесть список. Капитан вздыхает: все правила гигиены нарушены... впрочем, ведь это везде так. Все эти правила — вздор, выдумки канцелярских крыс. Он всегда лечил своих людей по примеру отца: с помощью аспирина и крепкого словечка. Всегда все было в порядке, а вот теперь почему-то не ладится. Ларсен смачно выругался. А тут еще этот балбес уставился на него, точно он прозрачный и сквозь него что-то видно... Олаф не замечает отца; ему мерещится тонкая фигура Кристины, ее упругая грудь, длинные стройные ноги.

— Черт возьми, — восклицает Ларсен, что-то вспомнив, — ведь Эрик не постоянный член нашего экипажа. Мы взяли его на борт в Антверпене. Да, но он наверняка должен был пройти медицинский осмотр...

Олаф, недовольный тем, что отец отвлек его от грез, пожимает плечами.

— Но де Витт проводил же санитарный осмотр, — бросает он насмешливо.

Де Витт — старый приятель. Не один час на протяжении многих лет провел с ним Ларсен за трубкой и бутылкой вина. Между ними существует давний уговор. Де Витт никогда не пристает к Ларсену с медицинскими формальностями. Этого толстого лентяя вполне устраивает забраться в кресло в капитанской рубке и, тепло укутав зябнущие ноги, пропустить стаканчик-другой. Обычно разговор идет о политике. Мечта де Витта — стать муниципальным советником. Он давным-давно бы им стал, да вот натворил глупостей во время оккупации. Пока доктор разглагольствует, Олаф готовит документы. Де Витт подписывает, и делу конец. Ларсен, довольный тем, что все так быстро уладилось, отводит его к шлюпке, — вот и весь санитарный контроль. Не позволять же в самом деле бюрократам портить тебе жизнь! Только на этот раз похоже, что щелкоперы отыграются!

22 часа 30 минут (по Гринвичу) на дороге Зобра — Титюи

Джип Ван Рильста резко бросает в сторону. Дорзит и Этьен хватаются за сидение: у этого торговца хлопком весьма своеобразная манера вести машину. Джип мчится зигзагами по узкой дороге, задевает за ветви деревьев, цепляется о придорожные кусты, вихрем пролетает по лужам, разбрасывая снопы брызг. Пьяные пассажиры горланят вовсю, перекрывая своими криками шумы леса. Но понемногу, под действием свежего ночного воздуха они начинают трезветь, и сам собой напрашивается вопрос: а зачем, собственно, они едут в Титюи?

Этьен им явно что-то наплел. Не может быть, чтобы он один поймал сигнал бедствия! Чепуха! Да разве люди, попавшие в беду, станут ждать помощи от негритоса?

Этьен Луазо всеми силами старается убедить их, выкладывает все, что ему известно о радиолюбителях: об их обычаях, о чувстве солидарности, связывающем этих людей, разбросанных по всем странам света; о правилах, которые предписывают немедленно отвечать на всякую просьбу о помощи; говорит о колебаниях радиволн и о магнитных бурях. Но спутники его с каждой минутой верят ему все меньше. Ван Рильст резко останавливает джип и собирается повернуть обратно, а Дорзит не перестает угрожающе повторять:

— Ты посмеялся над нами, обезьяна, но тебе это даром не пройдет.

Вконец отчаявшись, Этьен выпрыгивает из машины.

— Куда ты?

Ну и черт с ними, он дойдет до шахты пешком. Его решительный вид производит впечатление.

— А как же ты доберешься обратно?

Этьен пожимает плечами. Пешком, конечно. В эту минуту мозг его, точно молния, пронзает мысль: а Мария? Он забыл о ней, забыл о малыше, который должен родиться, о своем ребенке. Как это могло случиться? Просто непонятно. Потрясенный, он внезапно останавливается, ему стыдно. Надо вернуться домой, вернуться немедленно. Протяжный крик жены, довольная улыбка матери зовут его в хижину. Что ему до неизвестных людей, сигналы которых он поймал? Но его спутники с

непоследовательностью пьяниц за это время тоже успели переменить мнение.

— В Титюи, говоришь, есть инженер, который умеет обращаться с радиопередатчиком? Вот мы с ним и поговорим. Садись.

Этьен возвращается, Дорзит хватает его за шиворот и поспешно втаскивает в машину.

— Если ты нам соврал, мы погоним тебя обратно пинками в зад, — с ухмылкой говорит он.

Ван Рильсту очень нравится эта мысль. И, от всей души желая, чтобы Этьен оказался обманщиком, он весело повторяет:

— Да, да, пинками в зад. Садись, садись.

Машина набирает скорость, а Дорзит, смакуя, разрабатывает план:

— Один из нас поведет машину, а другой будет тебе поддавать сзади. Торопиться-то ведь будет не к чему. Времени хоть отбавляй.

Теперь Ван Рильст придумал новое развлечение: он на время выпускает руль из рук и снова берется за него в последнюю минуту, когда машина того и гляди врежется в какое-нибудь препятствие.

Дорзит хохочет до слез. Его забавляет откровенный испуг на лице Этьена.

— На обратном пути ты еще больше повеселишься, когда твой задний амортизатор превратится в кашу.

Оба не отличаются изобретательностью, и мысль о предстоящем развлечении долго забавляет их.

23 часа (по Гринвичу) на шахте в Титюи

Когда они подъезжают к шахте, деревенька уже спит крепким сном. Джип направляется к небольшому каменному домику, окруженному садом, — жилищу инженера. Бой, дремавший на террасе, поднимается навстречу посетителям. Его хозяин болен.

Вот уже два дня, как лихорадка приковала к постели инженера Жиля Лаланда. Высокая температура не дает ему уснуть. В тесной комнате, через стенки которой проникают любые звуки, молодой бельгиец ворочается под противомоскитной сеткой. Странные видения обступают его — воспоминания о прошлом сплетаются с бредовыми

образами. Кажется, до иных порой можно дотронуться, они почти осязаемы. Другие, едва возникнув в сознании, тотчас растворяются, словно тени.

Почему Лаланд забрался так далеко в погоне за счастьем? Он пытается вспомнить, но это ему не удается, — дождь, грязная мостовая, дрожащие фонари портовых кафе Антверпена неотвязно мерещатся ему; острая, как физическая боль, разъедающая тоска по родине вызывает у него глухой стон. Если бы Жиль лежал у себя в постели, там — в Европе, он, вероятно, сдержался бы из боязни, что из соседней комнаты может услышать мать. Но к чему сдерживаться здесь? Тут некого щадить, не с кем поговорить, здесь для него никто не существует. И он ворочается с боку на бок на жаркой постели. Перед ним возникают образы женщин. Понемногу они заполняют всю комнату; столпились у постели. Им нет числа. А может, это только одна женщина, но она раздвоилась, утроилась, превратилась в целое множество. Она и брюнетка и блондинка одновременно, даже рыжая, и все-таки она одна, одна и та же. У нее голые руки, грудь, округлые плечи и бедра, перерезанные линией подвязок и пеной белых кружев... Здесь только негритянки. Лоснящаяся черная кожа скользит под рукой, но в то же время она твердая, упругая, противная. Лаланд вздыхает при воспоминании о фламандских женщинах — пухлых, упитанных. А этих негритянок так и хочется ударить. Он видел однажды, как мастер бил женщину хлыстом. В воздухе стоял свист от ударов... Он тогда вмешался, отругал мастера, и тот извинился. А сейчас ему самому хочется поступить так же. Бить... с размаху бить по омерзительной черной коже.

В дверь постучали. Бой с озадаченным видом заглянул в комнату: какие-то белые хотят видеть Лаланда. Инженер смотрит на часы: стоят. Все здесь стоит на одном месте. То, что он не знает, который час, кажется Лаланду непереносимой пыткой.

Он поднимается с постели, но его длинные худые ноги, поросшие светлыми волосами, тотчас же подкашиваются. Ему приходится сесть. Проклятье! Повернувшись на кровати, он нечаянно порвал сетку. Бой починит ее, но уж очень он неумелый. Будет без конца возиться с иголкой и ниткой, а Жиль пока не сможет даже лечь. Вот

еще одна беда — ну прямо хоть плачь! Прежде чем выйти инженер набрасывает на плечи шерстяной плед. Под пледом тепло, но Лаланда знобит, несмотря на духоту тропической ночи.

В ожидании Лаланда Дорзит и Ван Рильст уселись в кресла на террасе, да так прочно, что при появлении инженера они и не думают встать, а преспокойно продолжают пить его виски, которое принес по их приказанию бой. Лаланд, когда у него бывает приступ лихорадки, ненавидит не только негров. Белых он также терпеть не может. А эти двое, с красными, опухшими лицами, кажутся ему особенно противными. С большим трудом заставляет он себя выслушать объяснения Этьена. Да, у него есть передатчик, но он почти никогда им не пользуется. С каким удовольствием он послал бы их всех к чертям вместе с их сигналом бедствия! И что этим проклятым боровам дался сигнал бедствия? Разве все мы не терпим бедствия, не гибнем в этой забытой богом стране? Но Жиль берет себя в руки. Не хватало только, чтобы после всего, что он претерпел на этой африканской земле, начальству послали плохой отзыв о нем. Опыт научил его не доверять белым. Никогда не знаешь, какие у них могут быть связи. Влажной рукой отирает он выступивший на лбу пот. От мигрени стучит в висках. Вместе с боем он отправляется за приемником, спрятанным где-то в кладовке. Вдвоем они втаскивают его на террасу, и Этьен кидается помогать им. А Лаланд усаживается перед приемником и принимается крутить ручки настройки. Как только раздаются первые потрескивания, он облегченно вздыхает: ведь он еще толком не знал, в порядке ли аппарат, а вдруг он окончательно вышел из строя. Постепенно звуки становятся более отчетливыми. Волны джазовой музыки наполняют ночь. Дорзит, задремавший в кресле под действием последнего стакана виски, даже вздрагивает от резкого всхлипывания саксофонов.

Лаланд ищет другую станцию: поет Морис Шевалье; заигранная пластинка с неприятным шипением передает надоевшую песенку двадцатилетней давности.

В приемнике слышатся обрывки разных передач: снова музыка, последние известия на испанском языке, гнусавый голос американского диктора, снова треск, шумы, глухие взрывы.

Лаланд продолжает искать.

Вдруг голос, который уже слышал Этьен, с удивительной отчетливостью повторяет:

— Алло, говорит КТК... КТК... всем... всем... всем... Вы меня слышите? Перехожу на прием.

На этот раз оба белых вскакивают. Неизвестный, взывающий к ним издалека, внезапно становится для них, как раньше для Этьена, живым, страдающим человеком. Они наклоняются к приемнику, а встрепенувшийся Лаланд переключается на передачу:

— Вызываю КТК... КТК... КТК... Говорит ТРЗ... ТРЗ... сообщение принято... Прием...

23 часа 10 минут (по Гринвичу) на борту «Марии Соренсен»

Эти слова прозвучали так неожиданно, что Олаф колеблется несколько секунд, прежде чем ответить. Он уже столько времени каждые четверть часа повторяет свой вызов! Не получая ответа, он убедил себя, что его не слышат, что все их бросили на произвол судьбы в тумане и мраке арктической ночи. Голос, ответивший им, — усталый голос изнуренного болезнью человека. Но Олафу он кажется необыкновенно теплым и дружеским. Ларсен бросился к приемнику. Отдает ли он себе отчет в том, что делает? Ведь он положил руку на плечо юноши. Это неожиданное прикосновение стесняет Олафа, кажется ему почти непристойным. Рука давит на него, как посторонний тяжелый предмет; он с трудом сдерживается, чтобы не сбросить ее. Ларсен чувствует, как сжался Олаф, угадывает то похожее на отвращение чувство, которое испытывает сын. И широкая рука, покрытая густыми рыжими волосами, соскальзывает на стол; Олаф в замешательстве опускает глаза.

Лаланд, пока разворачивается эта немая сцена, объясняет, кто он такой, откуда говорит, спрашивает, что можно сделать для тех, кто подал сигнал бедствия. Ларсен и Олаф разом поворачивают головы и ищут на приколотой к стене карте Бельгийское Конго. В окне капитанской рубки появляется бородатое лицо. Вахтенный понял, что ответ по радио, наконец, получен, лицо его расплывается в широкой улыбке, почерневшие от жева-

тельного табака зубы сливаются с черной густой щетиной, которой обросло его лицо.

— Мне нужна медицинская консультация, — объясняет Ларсен, — у меня на борту больной в тяжелом состоянии. Вы меня поняли?

Он знаком приказывает сыну переходить на прием.

Объяснение проходит не без труда. Лаланд немного говорит по-английски, Ларсен тоже, но произношение у него такое, что не сразу его поймешь. Кончается дело тем, что он передает микрофон сыну.

— Какие симптомы болезни? — спрашивает Дорзит.

Капитан возмущен. А им-то что? Это дело врача. Пусть позовут к микрофону какого-нибудь специалиста, он ему все объяснит. Олаф отказывается передавать этот ответ, и он прав: не следует восстанавливать против себя единственных радиолюбителей, которые сумели поймать их сигнал.

У больного очень высокая температура, во всем теле боли, на бедре опухоль, объясняет Олаф.

— Откуда он?

И снова Ларсену приходится сдержать гневный окрик. Да какое им дело! Позовут они, наконец, врача или нет?

Олаф же отвечает:

— Больной был взят на борт в Антверпене, куда он прибыл из Голландской Индии.

23 часа 15 минут (по Гринвичу) на шахте в Титюи

Лаланд слышит название родного города, и ему кажется, будто сигнал бедствия послан лично ему. Антверпен, три слога, обладающие для него почти магической силой вызывать в памяти набережные и улицы, ведущие к порту, запруженные сплошным черным потоком людей, силуэты стоящих на якоре судов.

Остальным достаточно было упоминания Голландской Индии, чтобы все стало ясно. Перечисленные симптомы прямо подсказывают диагноз, — жителям колоний нетрудно в этом разобраться. Речь может идти только о тропической болезни. К кому обратиться за консультацией? Только не к местному лекарю, доктору Лювелсу, — с этим согласны все. Климат и постоянное пьян-

ство доконали его; невежество его вошло в поговорку. Решают связаться по радио со специалистом.

— Алло, КТК... Говорит ТРЗ... не отходите от приемника. Мы сейчас попробуем связаться с институтом Пастера в Париже.

23 часа 20 минут (по Гринвичу) в Неаполитанском заливе

Рыбацкий поселок; на склоне холма тесно прилепились друг к другу белые домики. Улицы, освещенные луной, безлюдны. Пробегающая через площадь собака шарахается в сторону от запоздалого прохожего. Хлопают на ветру паруса рыбацких шхун, готовящихся к выходу в море. На корме горят большие сигнальные фонари. Из воды выпрыгивает рыба и, разорвав спокойную морскую гладь, с плеском погружается обратно.

На самом краю поселка высится здание, построенное в современном стиле, — одно из тех ужасных нагромождений стекла и цемента, которые в последнее время вырастают, словно грибы, на окраинах деревень, нарушая гармонию красок обычного сельского пейзажа. В окне третьего этажа горит свет. Доменико д'Анжелантонио сидит перед приемником. Это мужчина лет пятидесяти, высокого роста, худой и облысевший, с длинным воскового оттенка лицом, резко перечеркнутым тонкой линией коротко подстриженных усов. Он в шляпе и накинутом на плечи темно-красном халате с потертыми от времени локтями и обтрепанными полами.

Подле него два рыбака, отец и сын, внимательно следят за каждым движением.

— Алло, — вызывает дон Доменико, — это «Лола-Лола»?

«Лола-Лола», яхта контрабандистов, кружит на самой границе территориальных вод Неаполитанского залива, трюмы ее забиты ящиками с контрабандными американскими сигаретами.

Дон Доменико — связной между яхтой и рыбаками, которые должны принять на суше партию табаку.

Несколько мгновений в комнате слышен только дробный перестук азбуки Морзе.

— Что они говорят? — спрашивает один из рыбаков.

Дон Доменико жестом приказывает ему замолчать. Внезапно он вздрагивает от резкого треска в аппарате. Помехи с ревом и грохотом следуют друг за другом. Боясь разбудить соседей, радист уменьшает громкость.

И тотчас раздается резкий, отчетливо слышный голос:

— Говорит ТРЗ... ТРЗ... важное сообщение... Нам нужно установить связь с Парижем. Если вы нас слышите, отвечайте...

Раздраженно повернув ручку, дон Доменико отстраивается от непрошенных собеседников. У него дела посерьезней. Право, у него нет времени выслушивать пустую болтовню радиолюбителей.

Он настойчиво пытается установить связь с яхтой контрабандистов.

— Алло, капитан, вы меня слышите?

Но нет, капитан его не слышит. Между ним и д'Анжелантонио затесался этот невежа, не перестающий повторять:

— Говорит ТРЗ... ТРЗ... важное сообщение... Нам необходимо установить связь с Парижем. Перехожу на прием.

Отдаленные, глухие вначале, сигналы азбуки Морзе постепенно становятся все явственней и слышней. Они фиксируются в виде кривой на регистрирующем устройстве полицейской автомашины с гониометром.

Комиссар Ипполито упирается ладонями в жирные ляжки.

— Это они, — говорит радист.

— Гони вовсю! — приказывает полицейский.

Автомобиль трогается с места. Ипполито дрожит от радости. Он любит свое дело. Вот уже несколько месяцев, как он выслеживает эту дичь. Удастся ли настичь ее наконец? Ипполито всего сорок лет, а он уже комиссар. Мог бы, конечно, как принято, посылать в операции своих подчиненных, а сам направлял бы их работу, сидя в канцелярии. Но он никогда не станет так делать. Прежде всего потому, что он честолюбив, да и хорошая схватка — для него необходимая отдушина: можно дать выход своим наклонностям, которые в противном случае привели бы его самого прямехонько на скамью подсудимых. А он предпочитает приводить на нее других.

— На этот раз мы накрыли подпольную станцию, — повторяет радист.

Широкое лицо комиссара озаряет улыбка. Загадочный передатчик успел причинить ему немало забот. К сожалению, он до сих пор не сумел установить его точное местонахождение. Люди, с которыми ему на этот раз пришлось иметь дело, необычайно изворотливы, осторожны. Работает передатчик всего несколько минут, по ночам. Радиус действия его очень велик: засечки, сделанные до сих пор, все еще оставляют неразведанной зону в сто квадратных километров.

Машина внезапно останавливается. Передача закончилась. Ипполито разворачивает карту. Крестиком отмечает место остановки. Затем закуривает сигарету и располагается поудобней в ожидании нового, весьма маловероятного появления своего таинственного противника.

Доменико, закончив передачу на яхту, кратко сообщает рыбакам распоряжения капитана контрабандистов:

— Встреча в три часа утра. Если вы выйдете в море в половине третьего, то сумеете пристать к «Лола-Лоле» в назначенное время. Перегрузка товара произойдет в открытом море. Грузовики будут ждать в обычном месте... Я останусь на приеме. Если будут новые указания, я вам сообщу.

Внезапно из приемника, который он забыл выключить, снова раздается властный призыв из Африки:

— Говорит ТРЗ... ТРЗ... важное сообщение. Помогите нам установить связь с Парижем...

Доменико пожимает плечами. Зовет:

— Кармела.

На пороге соседней комнаты появляется девушка. Трудно поверить, что дон Доменико, этот некрасивый и тщедушный человечек, мог произвести на свет такую чудесную, задорную красавицу. Брюнетка, с огромными глазами, великолепно сложенная, с твердой поступью, Кармела уже в шестнадцать лет с презрительной усмешкой смотрит в лицо мужчинам.

— Проводи их, — говорит отец.

Рыбаки идут следом за девушкой. Она идет, чуть покачивая бедрами, — скверная привычка, которую она недавно усвоила.

Дон Доменико снова подходит к приемнику:

— Говорит ТРЗ... важное сообщение...

23 часа 30 минут (по Гринвичу) на шахте в Титюи (БЕЛЬГИЙСКОЕ КОНГО)

Лаланд нервничает. Молчание в ответ на его призывы кажется ему враждебным выпадом. Лихорадка довела его до состояния болезненной чувствительности. Любое противодействие причиняет невыносимое страдание. Накинутый на плечи плед давит его свинцовой тяжестью. Он морщится в бессильном гневе, потеряв надежду пробиться сквозь этот мрак, окутавший его плотной, непроницаемой пеленой. Сведенные пальцы до боли сжимают ручки приемника, колени дрожат и судорожно подпрыгивают. Плед сползает на пол. Лаланд поднимает его.

— Наверное, и мы попали в зону молчания, — предполагает Этьен.

Лаланд пожимает плечами. Балда этот негритос! Ведь он только что поймал больше десятка станций подряд! Убежден, что его слышат, но где?

— Перехожу на прием.

Тишина. Равномерно похрапывает, развалившись в кресле и расставив вытянутые ноги, Дорзит, этот разбухший от виски толстый бурдюк. Ван Рильст — тот не спит. Обводит комнату пустым, остекленевшим взглядом. Ни признака мысли. «Съездить бы его по физиономии»,— думает Лаланд. Все равно не заметит. А если заметит, сумеет ли дать сдачи? Так и хочется посмотреть, что из этого получится. Вспыхнув на мгновение, желание тут же гаснет. При одной мысли о том, что для удара надо поднять руку, у Лаланда болезненно застучало в висках. Он переводит взгляд на Этьена. А ведь в самом деле, у этого негра живой и смышленый вид. Да нет, он макака, поганая макака, — уговаривает себя Лаланд. Они еще опасней, когда разыгрывают из себя цивилизованных. Напяливают ботинки, а ноги у самих цепкие, как у обезьян. Вот уж не удивился бы, узнав, что этот черномазый ест человечину. А туда же суется спасать рыбаков, которых никогда в жизни не видел, да и, по правде говоря, плевать ему, должно быть, на них. Лаланд отлично понимает, что в данном случае он несправедлив, неправ. Ну и что же? У него болит голова, спина, поясница — все болит. Его бросает то в жар, то в холод. Сколько месяцев торчит он в этих чертовых зарослях; здесь, наверное, и подохнет, а тут еще к нему являются в дом, стаскивают

с постели, заставляют посылать по радио какие-то сигналы, на которые никто не отвечает. Ну можно ли после этого быть справедливым? И к чему?

23 часа 30 минут (по Гринвичу) в Неаполитанском заливе

Кармела проводила рыбаков до садовой калитки. Один из них хотел было ущипнуть ее, но девушка, разгадав намерение, метнула на него такой неодобрительный взгляд, что рыбак счел нужным оправдаться и невнятно проворчал, что ничего плохого не сделал.

Скрипнула калитка. Кармела осторожно притворяет ее, глядя вслед удаляющимся рыбакам. Из темноты внезапно выступает Дженаро. Он караулил у входа. Это небольшого роста паренек, ладно сбитый, широкоплечий, с черными, как смоль, блестящими вьющимися волосами, черными глазами и матово-бледным лицом.

Кармела смеется:

— Ты напугал меня.

Дженаро крепко берет ее за руку повыше локтя.

— Не делай мне больно.

Но высвободиться она и не пытается. Наоборот — льнет к нему, прижимается всем телом. Дженаро нравится причинять ей боль. Ему приятно показать свою силу, он хотел бы, чтобы все девушки боялись его. Кармела тихо шепчет, почти касаясь ртом губ Дженаро:

— Мне надо идти. Отец всю ночь просидит за приемником. Раньше трех не приходи.

Дженаро обнимает ее. Затрепетав, она откидывается назад, но взгляд ее невольно обращается в сторону освещенного окна. Заметив это, Дженаро успокаивает:

— Не бойся, он не увидит.

Да если б даже и увидел их старый д'Анжелантонио, «дотторе» — доктор, как его называют в поселке, разве Дженаро испугался бы? Он не боится никого; да и Кармела всегда поступает по-своему, не считаясь с отцом. Но нарушить закон чести и правила приличия, пренебрегая местными обычаями, — опаснее, чем навлечь на себя гнев старого бандита.

Кармела вырывается из объятий Дженаро.

— Я пошла. Скоро увидимся.

Дженаро не отвечает. Сделав несколько шагов, Кармела останавливается:

— Что ты пока будешь делать?

— Найду, чем заняться.

— А именно?

— Пойду пройдусь.

— Где?

— Там.

Неопределенный жест в сторону пляжа.

— Один?

Молчание. Кармела настойчиво повторяет:

— Один?

Дерзкая улыбка возлюбленного выводит ее из себя. Она подбегает к нему и неожиданно впивается ногтями в щеку Дженаро.

— Ты меня любишь?

— Сама знаешь.

— Хочу, чтоб ты сказал еще раз.

— Люблю.

Может быть, Дженаро только притворяется, что ему больно? Кармела тянется к нему, делая вид, что хочет поцеловать:

— Если ты мне изменишь...

Раздается дикий вопль. Дженаро хватается за ухо. Черт возьми, ну и кусается, противная девчонка! Кармела быстро убегает, дверь захлопывается, за дверью слышен звонкий смех.

23 часа 40 минут (по Гринвичу) на шахте в Титюи (БЕЛЬГИЙСКОЕ КОНГО)

Луазо смотрит на часы (часы швейцарские; после бесконечных приставаний ему уступил их проезжий шофер). «Как-то там сейчас Мария? Наверное, ребенок уже родился. Как я мог уехать? — недоумевает Этьен. — Добраться бы до Зобры! Но на чем?» Им овладевает такое страстное желание вернуться к жене, что он готов пройти пешком все двадцать километров пути. Но еще вопрос, отпустят ли его?

Как бы в ответ на его мысли, успевший выспаться Дорзит усмехается, подозрительно уставившись на него.

— Не терпится узнать, что рогат? Малыш-то у тебя не черный, а цвета кофе с молоком, можешь не сомневаться.

Этьен не отвечает. Мысль о том, что Мария могла ему изменить, никогда, даже мельком, не приходила ему в голову. При воспоминании о жене теплая волна нежности заливает все его существо. Сейчас она мучается, кричит, должно быть. Мать говорила, что все женщины кричат. А он, Этьен, далеко. Деревенские матроны уверяли, что она промучится всю ночь. Им-то откуда известно? Каждое рождение — новое чудо, и всякий раз, когда оно свершается, бог склоняется над землей, благословляя семейный очаг. Семья у Луазо честная и порядочная — верующая христианская семья. Единственный грех, в котором Этьен кается на исповеди, это грех гордыни. Прав ли он, считая себя выше братьев своих, потому что те остались язычниками, а он осенен благодатью? Ему бы надо научиться смирению. Увы, никак это у него не получается. Вот, например, несмотря на все свои самые добрые намерения, он не может отказаться от убеждения, что Дорзит и Ван Рильст — грешники, которым уготован ад, а что он сам попадет в рай; конечно, пройдя сначала через чистилище.

Лаланд откинул голову на спинку стула. Пот струится у него по лицу. Крупная капля сползает по носу — он не смахивает ее: капля скользит, набухая, растет, на мгновение задерживается на самом кончике носа и, оторвавшись, падает на плед. Лаланд окончательно вышел из строя. Ему уже все безразлично.

Этьен подходит к микрофону.

— Алло, — вызывает он, — говорит ТРЗ! Отвечайте, кто меня слышит! Умоляю! Не уговаривайте себя, что сообщение уже, вероятно, принято кем-то другим. Возможно, что в такую ночь, как сегодня, вы, только вы поймали наш сигнал. Слушайте меня: человеческая жизнь в опасности. Погибает матрос на корабле. Мы пытаемся его спасти. Помогите нам! Вызывайте ТРЗ... ТРЗ... ТРЗ...

Дорзит и Ван Рильст вздрагивают от неожиданности и теперь внимательно смотрят на негра. На этот раз в их взгляде уже не видно насмешки. Лаланд тоже, кажется, стряхнул с себя оцепенение:

— Возможно, они не понимают по-французски. Давайте я передам это по-английски.

23 часа 41 минута (по Гринвичу) в Неаполитанском заливе

Д'Анжелантонио и Кармела склонились над приемником.

— Что они говорят? Ничего не понимаю.

Девушка знаком велит отцу замолчать. Слишком поздно, его слова уже заглушили доносившуюся из приемника английскую речь. Кармеле часто приходилось слышать этот язык, и она легко его усвоила.

— Они говорят, что кому-то угрожает опасность.

— Надо ответить.

Первое побуждение у д'Анжелантонио — всегда честное. Если он и стал участником неблаговидных торговых операций, то лишь потому, что обстоятельства слишком часто складывались не в его пользу. По крайней мере, так он сам считает. И это, конечно, так, стоит только признать, что человеческие слабости — просто результат неблагоприятных обстоятельств. Д'Анжелантонио — почтенное и уважаемое семейство. Во всяком случае, оно было таким до тех пор, пока Доменико не промотал до последнего гроша все семейное достояние. Не приученный к труду, никогда не имевший определенной профессии, он всю жизнь строил головокружительные, несбыточные, бессмысленные планы. Провал его махинаций вовсе не действовал на него удручающе. Напротив, каждый раз он с новым пылом начинал все сначала, переходя от одной сомнительной сделки к другой, постепенно опускаясь все ниже и ниже. Так, незаметно для самого себя, со ступеньки на ступеньку, он докатился до соучастия в темных делах шайки контрабандистов. Сперва он внушал известное уважение этим нарушителям закона и относился к ним чуть свысока, хотя и с дружеским расположением. Однако постоянные оплошности вскоре подорвали авторитет Доменико — это было окончательным падением. Никто так хорошо не сознавал этого унижения, как Кармела. Мать бросила ее малым ребенком: оставив мужа, она ушла с богатым калабрийским коммерсантом. С тех пор Кармела ее больше не видела. Девочка росла, как дикий полевой цветок, всегда поступала по-своему. Она обожала и вместе с тем презирала отца, обращаясь с ним, как с ребенком. Чтобы доставить ему удовольствие, она вышивала на его носовых

платках родовой герб и сама же потешалась над этим с Дженаро и его друзьями.

— Я отвечу на это обращение, — решает Доменико.

23 часа 42 минуты (по Гринвичу) на шахте в Титюи (БЕЛЬГИЙСКОЕ КОНГО)

В хижине Лаланда люди у приемника нетерпеливо ждут ответа.

— Попробуйте еще раз, — предлагает Дорзит, — повторите на двух языках.

Они снова повторяют обращение. Этьен невольно отмечает, что в его словах уже нет того страстного волнения, которое звучало в тот раз, когда эти слова полились вдохновенно, сами собой. Как обидно, что его не услышали! Может быть, удалось бы задеть за живое, поколебать равнодушие какого-нибудь радиолюбителя.

И вдруг он вздрагивает. Лаланд перешел на прием. Гнусавый голос говорит:

— ТРЗ... ТРЗ... Вызываю ТРЗ. Сообщение принято.

23 часа 43 минуты (по Гринвичу) в районе Неаполитанского залива

В полицейской машине с гониометром комиссар Ипполито разложил на сиденье карту обследуемого района. Он достает из кармана карандаш и крестиком отмечает те три пункта, где они засекли сигналы подпольного передатчика. Обводит кружком район действий и недовольно кривится: тридцать квадратных километров! Едва ли этой ночью удастся обнаружить нарушителей. А завтра их передатчик может оказаться уже далеко отсюда.

— Все еще разговаривают. — Радист указывает на дрожащую кривую, которую чертит регистрирующий аппарат.

Подольше бы поговорили! Ипполито наклоняется к ветровому стеклу, будто хочет помочь машине набрать скорость.

— Вперед! — приказывает он, стиснув зубы.

Машина рывком берет с места и, подпрыгивая на ухабах, несется по пыльной проселочной дороге.

Доменико потратил время не зря. Связь с Парижем установлена.

— Алло, алло, Париж! Вы меня слышите?

23 часа 45 минут (по Гринвичу) в Париже

Большая просторная комната в квартире на Марсовом поле. За широким окном видна Эйфелева башня, бесконечная, уходящая вдаль перспектива темных крыш в мерцании тысячи огней.

У радиопередатчика сидит человек. Ему лет сорок. На бледном худом лице выделяются странно неподвижные глаза. Голос звучит резко и сухо.

— Отлично. Попытаюсь связаться с институтом Пастера. Вы откуда говорите?

— Из Италии.

— Точнее.

— Южная Италия.

— Прошу позывные.

Доменико пытается увильнуть от прямого ответа:

— Вызывайте нас поскорее. Буду ждать. Остаюсь на приеме.

Но француз настойчиво повторяет:

— Ваши позывные?

— ИРП 45.

Доменико наугад указал позывные и, чтобы избежать дальнейших расспросов, резко оборвал разговор.

Поль Корбье поворачивается к жене. У него пустые и неподвижные глаза: он слеп.

— Странные радиолюбители, — ворчит Корбье, — не могут даже позывные сообщить как следует.

Сидя в низком кресле, Лоретта вяжет. Она в халате; из-под розовой комбинации видны выцветшие красные домашние туфли. Бывало, Лоретта, оставаясь вечером дома, мазала лицо кремом — это полезно для кожи. Теперь она больше никуда не выходит и перестала следить за собой. Потому что если женщина за собой следит, то делает это не только для себя, но и для кого-то еще. А раз этот «кто-то» ослеп, Лоретта перестала обращать на себя внимание. К чему кокетство, если муж не

может тебя видеть? Вот почему Лоретта выглядит слегка увядшей, хотя ей не больше тридцати пяти.

— Надо бы позвонить в институт Пастера, — говорит муж, — им нужна консультация.

Лоретта машинально встает, услужливая и безразличная, как всегда, с некоторых пор.

— Позвонить?

Он жестом останавливает ее.

— Не стоит, станут они беспокоиться!

Молчание. Лоретта давно научилась понимать без слов мысли своего мужа. Несчастье озлобило его, он всегда ворчит.

— Знаю я этих медиков; подохнешь, прежде чем они пошевельнутся.

Если бы после ранения ему своевременно сделали операцию, левый глаз был бы спасен...

Корбье вздыхает: не везет, надо же было именно ему поймать это сообщение, разбередившее старые раны. «Какой он нудный», — думает Лоретта. Целые дни он копается с передатчиком, который сам собрал. В этом теперь вся его жизнь, и он так жалеет, что ему ни разу не пришлось участвовать в перекличке радиолюбителей разных стран, когда они оказывали помощь людям, терпящим бедствие. Одна эта возможность оправдывает занятие радиолюбительством. Лоретта ждет, что скажет муж. Ждать приходится не долго: «Надо, — решает Корбье, — чтобы Лоретта пошла в институт Пастера и постаралась убедить какого-нибудь врача прийти сюда, к передатчику».

Она проходит в соседнюю комнату.

— Ты одеваешься?

Она не отвечает: он знает каждый ее жест до мельчайших подробностей, как будто видит. С тех пор как он ослеп, весь его мир — жизнь Лоретты. Сосредоточенно прислушивается к шороху материи.

— Ты надеваешь синее платье?

Это даже не вопрос. Скорее утверждение.

Он перебирает пальцами двойной ряд перламутровых пуговиц на корсаже. Четвертая пуговица держится слабо. Корбье слегка дергает ее, чтобы убедиться, что сегодня она еще не оторвется.

Сидя в кресле, Лоретта надевает чулки. Кружева на ее комбинации порваны в нескольких местах.

Корбье объясняет:

— Пойдешь в институт Пастера самым коротким путем: сначала бульваром Тур-Мобур, а потом по бульвару Инвалидов...

23 часа 50 минут (по Гринвичу) на борту «Марии Соренсен»

Из Бельгийского Конго только что сообщили, что установлена связь с французским радиолюбителем, который немедленно свяжется с институтом Пастера.

— Ну и слава богу, — вздыхает Олаф.

Слова при теперешних обстоятельствах вполне естественные, но тон, которым они сказаны, неприятно задевает Ларсена. Хмуро уставившись на сына, он спрашивает:

— Почему ты сказал: «Слава богу»?

— Люди встревожены.

— Нечего им тревожиться. Больной на борту их не касается — это мое дело.

Олаф не отвечает. Туманный женский образ витает между ними. Почему оба вспомнили вдруг о Кристине?

Чтобы отогнать от себя раздражающее видение, Ларсен заводит речь о другом:

— Следующий раз обязательно пересмотрю договор с компанией. Хлопот не оберешься, а платят мало.

— Сейчас многих увольняют, сам знаешь.

Здравое замечание Олафа, в котором сейчас говорит только дух противоречия — он унаследовал его от матери, — вызывает неоправданно гневную вспышку капитана. Он запальчиво стучит кулаком по столу:

— Люди всегда будут есть рыбу, компании всегда будут нужны рыбаки. Уж нас-то не оставят без работы.

Но какой толк в споре, если на твои доводы никто не возражает! Олаф упрямо молчит. Без всякого перехода Ларсен продолжает:

— Прикажи раздать ром...

— Кому?

— Да команде, черт побери! Кому же еще!..

Выходя, Олаф наталкивается на Мишеля. Кок сидит на палубе с котом на руках.

— Эрику все хуже, — говорит он, прежде чем Олаф успевает спросить о больном.

Пустая консервная банка катится по палубе и, запутавшись в снастях, останавливается у борта. Оба собеседника машинально провожают ее взглядом.

— Внеочередная раздача рома, — объявляет Олаф.

Протяжно свистнув, Мишель опускает на палубу кота; тот сейчас же устремляется к консервной банке. Следом за Олафом кок спускается по трапу, ведущему в кубрик.

Старик Петер, сидя на койке, забивает трубкой гвозди, вылезающие из подметки.

— Сколько плаваю, ни разу не видел, чтобы в такую погоду били кита.

Все молча слушают. Большинство лежит на койках, но никто не спит.

Один рыбак гадает на замусоленных картах, двое играют в кости.

Старик продолжает:

— При такой погоде кит в глубину идет, попробуй-ка, достань его... — При виде входящего Олафа он умолкает.

Молодой помощник капитана подходит прямо к койке больного. Из-под одеяла, натянутого до самого носа, виднеются только лоб и блестящие от жара глаза.

Олаф молча смотрит на него:

— Больше не стонет?

— Перестал недавно, — отвечает юнга Эдмунд. Юнга мал ростом даже для своих одиннадцати лет. У него рыжие взлохмаченные волосы, курносый нос с огромными ноздрями, все лицо покрыто веснушками, хороши только большие зеленые глаза.

Олаф приподнимает край одеяла и тотчас опускает его. Больной протяжно стонет. В кубрике стоит напряженная тишина, слышно только поскрипывание обшивки корабля, завывание ветра на палубе, тяжелое дыхание матросов да стук раскатившихся по полу костей. Но вот раздается звяканье фляги и стаканов — Мишель несет их в одной руке. Входя, повар нагибает голову, чтобы не стукнуться о притолоку:

— Налетай...

Рыбаки подставляют кружки. Мишель обходит всех, наклоняет флягу, и золотистая, цвета темного янтаря жидкость, булькая, льется в кружки. Эдмунду тоже полагается, но на самое донышко. Повар отыскал кружку больного, хочет налить и ему, но Олаф не позволяет.

0 часов 10 минут (по Гринвичу) в Париже

Институт Пастера. Кабинет дежурного врача. Доктор Ги Мерсье погружен в чтение интересной статьи. Исключительных результатов добились канадские врачи при лечении холодом. Мерсье всегда верил в этот метод. Прервав на минуту чтение, он подумал, удастся ли убедить Ленэ применить новый способ при лечении ребенка, попавшего к ним в отделение. Но ему уже заранее известно, что скажет патрон. Ленэ слишком консервативен. Бесполезно обращаться к нему. Мерсье вновь принимается за статью. Ему около тридцати лет. Он не красавец, но и не урод: небольшого роста, шатен, с взлохмаченной шевелюрой, с неправильными чертами лица и высоким лбом. Одет прилично, но небрежно: воротничок рубашки потерт, один уголок загнулся, пиджак помят, брюки давно неглажены. В общем, доктор Мерсье производил бы, вероятно, довольно жалкое впечатление, если бы не глаза, умные, проницательные.

В кабинет без стука входит сестра — молоденькая брюнетка.

— Опять эта, что помешалась на радио. Не хочет уходить, обязательно ей нужно с тобой поговорить.

Мерсье, улыбаясь, оглядывает ее. Под белым халатом легко угадываются пышные формы.

Он встает и идет к двери. Проходя мимо сестры, не может отказать себе в удовольствии ущипнуть ее. Она улыбается и молча прижимается к нему.

— А какая она из себя, эта помешанная?

— Да так, ничего, — отвечает она машинально. Но тут же, спохватившись, возмущается: — А тебе-то что?

— Просто так спрашиваю.

— Изменять мне в другом месте еще куда ни шло, но здесь, в больнице, под самым моим носом! Это уж слишком!

Оба смеются. Мерсье обнимает ее, пытается поцеловать, но она отстраняется, показывая на открытую дверь:

— Осторожно!

Лоретта дожидается в коридоре. При виде доктора на ее бледном лице расцветает улыбка, и она бросается навстречу Мерсье.

— Это вы, Ги?

Он не узнает ее. Лоретта напоминает: Жуан ле Пен, лето сорок второго года... Оба приехали туда с веселой компанией друзей. Она была очень дружна с его родственниками, Жаком и Колеттой.

Теперь Мерсье вспоминает. Как же, прелестная белокурая девушка, в которую он был тогда влюблен. Все его товарищи ухаживали за ней. Однажды она обратилась к нему за медицинским советом. Расстегнула корсаж, чтобы он выслушал ее. А он, приложив ухо к ее плечу, так смутился, что стал заикаться и чуть не ошибся в диагнозе. Она все такая же высокая, белокурая, изящная, и, наверно, у нее те же изумительные формы, но прежнего блеска уже нет. «Стройная увядающая лилия», — думает Мерсье. Она улыбается ему, он отвечает на ее улыбку. Зубы у Лоретты немного пожелтели, и он невольно отметил это — года через три она, пожалуй, совсем постареет. И, не удержавшись, он спрашивает:

— Что с вами стало, Лоретта?

0 часов 15 минут (по Гринвичу) в Неаполитанском заливе

Неумолимый разоблачитель, стрелка гониометра привела полицейскую машину к деревне, где живет Доменико д'Анжелантонио. Машина останавливается у большого железобетонного дома. Ипполито и его люди выскакивают из нее и взбегают по ступенькам крыльца. Позвонив у первых попавшихся дверей и расспросив швейцара, они без колебаний направляются к квартире «доктора». На громкий, нетерпеливый звонок комиссара выходит Доменико. Облаченный в длинный халат, наподобие старинного плаща, он держится с большим достоинством. Ипполито грубо вталкивает его в комнату, полицейские входят следом.

После первых же вопросов д'Анжелантонио воздевает руки к небу и, полный благородного возмущения, защищается.

Откуда у него может быть радиоприемник? Зачем он ему нужен? К сожалению, он, Доменико, не располагает средствами для подобных расходов. Если бы он мог позволить себе такую роскошь, разве он жил бы так? Ко-

миссар сам может убедиться, как скромно обставлена его квартира, в каком плачевном состоянии вся его мебель.

Ипполито перебивает.

— Дон Доменико, — говорит он, — вы единственный образованный человек в этой деревне. Тут кругом малограмотные. Я их всех знаю. Только вы способны обращаться с радиоприемником.

Образованный, еще бы! Полицейский задел слабую струнку «доктора». Но сбить его не удается, напротив — он чувствует себя как нельзя более уверенно. Он взывает к чувству солидарности комиссара: люди, достигшие определенного уровня, всегда могут договориться друг с другом. У кого же еще ему искать сочувствия, как не у тех, кто так же, как и он, получил образование? Стоит Доменико разойтись, — и его уже не остановишь. Он рассказывает о своем детстве, о безмятежной юности в лоне почтенной семьи. Вся округа знала и уважала его отца, потомственного дворянина. У Доменико сохранилась одна семейная реликвия, с которой он не расстается, несмотря на все превратности судьбы. Он хранит полученный по наследству перстень, с выгравированным на нем фамильным гербом. И Доменико тычет полицейскому в нос свое кольцо. Комиссар начинает терять терпение, но д'Анжелантонио неистощим. Он пускается в воспоминания о своих занятиях в неаполитанском университете. Он проучился всего один год на юридическом факультете, что, однако, не помешало ему присвоить себе звание доктора. Дон Доменико с пафосом перечисляет все свои несчастья: одна война, две войны, фашисты, немцы, американцы. Послушать «доктора» — все удары судьбы были направлены единственно против него; он настоящий мученик. Доменико повествует о всех своих делах; не упуская ни малейших подробностей, перечисляет злоключения, выпавшие на его долю, достает из ящика стола папки с бумагами, потрясает документами, как боевыми знаменами.

Потеряв всякую надежду заставить его умолкнуть, Ипполито приказывает начать обыск. Полицейские только того и ждали. Мстя за вынужденное ожидание, они в мгновение ока буквально переворачивают все вверх дном, превращая комнату в настоящее поле битвы. Но ничего не находят.

— Что там за дверью?

При этом святотатственном вопросе дон Доменико взмахивает руками, в точности воспроизводя жест святого Амбруаза, преграждающего вооруженным варварам вход в тот самый храм, который носит теперь имя мученика.

— Там спальня моей дочери.

Ипполито не смущается ни жестом Доменико, ни его тоном.

— Пусть оденется и выйдет.

Воинственный пыл Доменико заметно спадает:

— Вы шутите, господин комиссар. Ведь она девушка!

Подобный довод ничуть не смущает полицейского.

— Пусть выходит, иначе я сам отворю дверь!

Он стучится в спальню Кармелы и объявляет:

— Полиция. Выходите, мадмуазель. Даю вам пять минут. А не выйдете, мы сами войдем.

Дон Доменико хватает комиссара за пуговицу.

— Если у вас есть дочь, умоляю вас...

— Нет у меня дочери. Я холостяк.

Дон Доменико разводит руками:

— Воля ваша. Исполняйте ваш долг. Я уступаю. Dura lex, sed lex [1]. — Он сам открывает дверь и включает свет. Взорам всех предстает лежащая на постели Кармела — она великолепно изображает внезапно разбуженную девушку.

— Кто эти люди?

— Полиция. Я же вам сказал. Мы выйдем на минуту, а вы пока вставайте и одевайтесь.

Громадная, накрытая до самого пола кровать тотчас же привлекает внимание комиссара.

Дон Доменико пускает в ход последнюю уловку:

— Сударь, я сделал все, что в моих силах, чтобы вам угодить, но то, что вы требуете сейчас, задевает девичье целомудрие и честь семьи.

— Я сказал: на пять минут мы выйдем.

В первый раз дон Доменико решается на открытый бунт:

— Делайте что хотите. Кармела не встанет.— И обращаясь к дочери: — Не смей вставать.

---

[1] Суровый закон, но закон *(лат.)*.

Приказание излишне. Кармела уже перестала разыгрывать роль целомудренной девицы.

— А я и не встану. Если угодно, стаскивайте меня с постели силой, — объявляет она.

Комиссар колеблется. Такое упорство только усиливает его подозрения. Но все же Кармела — девушка, и он задумывается, как бы ему обшарить кровать Кармелы, не выходя слишком далеко за рамки приличия.

В последний раз он предлагает:

— Прошу вас, встаньте, пожалуйста.

— Как, в присутствии стольких мужчин, — вопит отец, — никогда!

— Ну, раз вы отказываетесь...

Ипполито делает знак полицейским; сам берется за край тюфяка. Вчетвером они приподнимают его и вместе с Кармелой опускают на пол. Когда тюфяк касается пола, слышен отчетливый лязг железа. Звук идет из-под простынь. Под тюфяком вместо матраса в прямоугольной раме кровати — полный набор радиоаппаратуры и шлем с наушниками.

— Как будто все на месте, — отмечает комиссар, — не хватает только антенны.

Он смотрит на Кармелу. Минуту она колеблется, потом просовывает руку под одеяло и молча протягивает полицейскому антенну. При этом она приподнимается, упругая грудь четко обрисовывается под узкой ночной рубашкой. Взгляды мужчин тотчас обращаются в ее сторону.

— Одевайтесь и следуйте за нами, — говорит Ипполито отцу Кармелы.

Дон Доменико молча повинуется. Но прежде чем сбросить халат, приказывает дочери:

— Кармела, отвернись.

Пожав плечами, она послушно отворачивается.

Надевая брюки, «доктор» пытается оправдаться:

— У меня был приемник. Признаю. Меня развлекали беседы с друзьями, разбросанными по всему свету. За разговором не так остро чувствуешь свое одиночество. Когда у человека столько несчастий, сколько выпало мне на...

Комиссар резко обрывает его:

— Ладно, ладно. Поторапливайтесь.

— Я готов уплатить штраф. Я знаю, что действовал не по закону. Скажите мне, сколько я должен внести, и я уж как-нибудь постараюсь...

— А сколько платили вам контрабандисты, как связному?

— Какие контрабандисты?

Дон Доменико, по-видимому, искренне возмущен подозрением Ипполито.

— Знать не знаю никаких контрабандистов. Что еще выдумали? Я честный гражданин. Да, я действительно поддерживал связь, когда вы вошли, но знаете с кем? С кораблем, на борту которого находится больной. Это только акт человеколюбия. Я связал корабль с радиолюбителем, и тот отправился за врачом в институт Пастера.

Полицейский ухмыляется:

— Вас представят к медали за спасение погибающих.

0 часов 17 минут (по Гринвичу) в Париже

По пути домой Лоретта рассказала Ги Мерсье свою печальную историю. За Корбье она вышла в 1943 году. Все девушки были от него без ума. Он был красив, молод, богат, прославился, как смелый летчик, искусный охотник и чемпион по теннису. В сорок четвертом году, с блестящей характеристикой за участие в движении Сопротивления, Корбье поступил во вторую танковую дивизию. За несколько месяцев он получил два повышения в чине, медаль и три благодарности в приказах. А потом случилось страшное несчастье: когда он с войсками вступал в немецкий город, у него в руках разорвалась граната. Неумелая и наспех проведенная операция, смена надежд и отчаяния и, наконец, консилиум с участием нескольких крупных светил офтальмологии, который вынес трагический приговор: Поль Корбье ослеп навсегда. Один-единственный год радостной жизни — вот все, что выпало на долю Лоретты. Счастливая, нежно любимая, вызывающая всеобщую зависть, жена одного из самых обаятельных парижан превратилась в сиделку опустошенного, сломленного горем человека. На занятия спортом, его любимое увлечение, был наложен строжайший запрет; духовных интересов у него не было, и, столкнувшись с одино-

чеством и страданием, отрезанный от внешнего мира, он оказался безоружным и сдался.

Как только доктор вошел в комнату, Корьбе стал вызывать Италию:

— ИРП 45... ИРП 45... Почему этот проклятый передатчик не отвечает?

Корбье нервничает. Мерсье садится рядом. Ждет. Лоретта ушла в свою комнату, оставив мужчин одних.

— Доктор, будьте любезны, отыщите в каталоге позывные ИРП 45, в разделе Италия.

На столике рядом с приемником Мерсье находит объемистый том. Каталог напоминает телефонный справочник. В нем указаны имена всех зарегистрированных радиолюбителей мира. ИРП 45 в нем не значится.

Корбье ерзает на стуле.

— Вы внимательно смотрели?

Для большей убедительности доктор зачитывает список итальянских позывных: за ИРП 40 непосредственно следует ИРП 62.

— Не может быть.

Пальцы слепого точно приросли к ручкам приемника. Он настойчиво повторяет вызов.

— Вероятно, это какой-нибудь новый передатчик, — замечает Мерсье.

Корбье зовет:

— Лоретта!

Молодая женщина появляется на пороге. Она переменила прическу — взбитые волосы молодят ее, — подкрасилась. Старание воскресить в глазах Ги свой прежний облик, пленивший его летом сорок третьего года в Каннах, производит трогательное впечатление, но подетски наивно и бесполезно. Погас блеск в глазах, лицо утратило свежесть. «Лилия, увядающая лилия», — повторяет про себя Мерсье. Однако фигура сохранила стройность, длинные, породистые ноги по-прежнему изящны. У Лоретты в руках поднос.

— Рюмочку ликера, Ги.

Его имя звучит как ласка. Он поднимает голову, смотрит ей прямо в глаза, улыбается:

— Охотно.

А ведь он вообще не пьет ликеров.

Лоретта ставит поднос на низкий столик, откупоривает бутылку, наполняет рюмку. Ги следит за каждым ее

движением. Она молчит, но в каждом ее жесте сквозит радость и оживление. Слепой чувствует это.

Лоретта протягивает доктору рюмку.

— Давно не получали известий от Жака и Колетты?— спрашивает она.

Не важно, что она говорит. Все дело в тоне, каким это сказано. Корбье грубо обрывает ее:

— Ты что, не видишь, что я вызываю ту самую рацию, которая не отвечает; если ты будешь болтать, мы друг друга не услышим.

Лоретта покорно извиняется:

— Прости, дорогой.

Она неправа, она сознает это, Ги тоже неправ. Он отводит глаза от Лоретты. Она сидит, как обычно, в старом низеньком кресле, положив ногу на ногу; из-под платья видны кружева комбинации, но это уже не та обтрепанная комбинация, которая была на ней час тому назад.

0 часов 20 минут (по Гринвичу) в Неаполитанском заливе

Дон Доменико выходит из дому. Ипполито подталкивает его сзади в спину.

Разбуженные соседи в ночных одеяниях выскочили на шум, собираются на лестнице и во дворе.

При виде доктора, облаченного в длинный, наглухо застегнутый сюртук, в широкополой шляпе, напоминающей о лучших днях, со всех сторон раздается сочувственный шепот.

— Господин комиссар, — торжественно протестует Доменико, — я сказал вам чистую правду. Я служил связным между кораблем и 45 Пастера, указал даже ложные позывные, ИРП 45... а такие вообще не существуют, можете проверить.

— Да, так оно и есть,— вступает в разговор Кармела.

Накинув легкий халатик, она вышла во двор следом за отцом и полицейскими.

— ИРП 45 — таких позывных нет, их выдумал отец, клянусь вам.

Кучка людей, столпившихся у полицейской машины, плохо понимает, о чем идет речь, но тем не менее симпатизирует «доктору». Он порядочный человек, вежливый.

со всеми любезен. К тому же образованный. Что же это творится? Куда мы идем? До какого варварства докатились — сажают в тюрьму благородных людей, украшение и гордость поселка.

Чувствуя на своей стороне поддержку соседей, Кармела загораживает собой дверцу машины, куда собираются втолкнуть ее отца.

— Вы не отнимете у меня отца! — вопит она. — Нет, нет, не отдам его.

Из толпы собравшихся кумушек слышен одобрительный гул. Крошка права. Что станется с одинокой девушкой без отеческой заботы? У этих полицейских не сердце, а камень. Они способны отнять у бедной девочки отца. Бессовестные! Кармела кричит, топает ногами и, разгорячившись, сама уже убеждена в постигшем ее несчастье. Минута, другая, и весь двор, возмущенный, позабыв о сплетнях по поводу Кармелы, о подозрительных проделках дона Доменико, готов силой вступиться за обиженного.

Ипполито, схватив Кармелу за руку, пытается оттащить ее от машины; она отбивается, кусается, царапается, плачет, зовет на помощь.

— Счастье твое, что ты несовершеннолетняя, — рычит комиссар, не решаясь применить силу. — Ну, ничего, отец за тебя ответит, можешь быть уверена.

В течение всей этой сцены дон Доменико стоит молча, сохраняя невозмутимое достоинство. Время от времени он сокрушенно качает головой и подымает глаза к небу с видом великомученика. И вдруг в машине с гониометром раздаются неясные слова. Услышавший их Ипполито кричит громовым басом:

— Молча-а-ать!

Его голос звучит так властно, что даже Кармела перестает отбиваться.

— Тише!

В наступившей внезапной тишине из приемника, установленного в машине, внятно доносится голос Поля Корбье:

— ИРП 45... ИРП 45... ИРП 45... Вы меня слышите?

По знаку Ипполито радист отвечает. Минуту спустя начинается диалог.

— Почему прекратили прием?— допытывается Париж.

Комиссар добродушно отвечает:

— Вместо того чтобы злиться, лучше скажите нам, кто вы.

— Я передатчик, которого вы просили пригласить врача из института Пастера... Врач стоит рядом, вы можете связаться с кораблем?

— Попытаемся. Оставайтесь на приеме.

Ипполито приказывает полицейским, охраняющим дона Доменико:

— Отведите его в дом, пусть наладит передатчик.

Внезапный перелом в поведении полицейского остается загадкой для соседей, но когда дон Доменико, «доктор», с видом победителя подымается к себе наверх, у всех вырывается вздох облегчения.

0 часов 25 минут (по Гринвичу) на борту «Марии Соренсен»

Ларсен и Олаф тревожно переглядываются. С палубы сквозь открытое окно доносится плач юнги. Его побили. Рыбаки — народ не легкий. В такую ночь от них нечего ждать поблажки.

— Ничего, — говорит отец, — худа от этого ему не будет.

— Пусть закаляется, — вторит Олаф.

Когда он был юнгой, приходилось плакать и ему: положение капитанского сына не спасало от побоев.

Олаф до краев наполняет стакан ромом.

— Много пьешь, — замечает Ларсен.

Не отвечая, молодой человек залпом выпивает весь стакан. Он медленно и глубоко вздыхает, потом кладет локти на стол, подпирает подбородок сплетенными пальцами.

Отец набивает трубку, достает из кисета по маленькой щепотке табаку и уминает его грязным большим пальцем.

Из включенного радиоприемника все время слышатся глухое урчание, потрескивание, скрежет, резкий свист.

Вдруг стремительно врывается голос Лаланда. Он сообщает, что удалось связаться с врачом, что доктор Мерсье находится в квартире радиолюбителя в Париже и готов дать совет.

От корабля — к Африке, от Африки — к Неаполю, из

Неаполя полицейский радист, через аппарат дона Доменико, передает сообщение в Париж, — так с большим трудом, постепенно налаживается двусторонний разговор. Вопросы и ответы следуют по одной линии связи.

— Опишите симптомы болезни, — требует Мерсье.

— Высокая температура, — начинает Ларсен.

От передатчика к передатчику бегут слова:

— Пена на губах... Нарывы по всему телу... язвы на бедрах...

Париж спрашивает:

— Какого цвета нарывы?

— Красные.

— Красные, — объявляет Лаланд.

— Красные, — повторяет полицейский радист.

— Болезненны?

— Нет... Нет... — по очереди подтверждают связные из конца в конец цепи.

— Болезнь началась сразу?

— Сразу. Больной свалился на палубе.

— У вас есть животные на борту?

— Есть. Кот.

— Наберите полный шприц слюны больного и введите ее коту.

Ларсен и Олаф без слов понимают друг друга. Капитан достает из аптечки шприц.

— Прокипятите его, — распоряжается голос из радиоприемника.

Спиртовка стоит в углу. Олаф наливает в кастрюльку воды, щелкает зажигалкой, подносит к фитилю. Отец опускает шприц в кастрюлю; вода быстро нагревается. Чтобы не сидеть без дела, Олаф подходит к аппарату, сообщает:

— Вода закипает. Через несколько минут введу коту слюну больного.

Известие передается по всем звеньям цепи.

В комнате д'Анжелантонио комиссар Ипполито сидит верхом на стуле. Не в силах удержаться, он то и дело искоса поглядывает в сторону Кармелы. Девушка стоит рядом с отцом у приемника. Халат ее слегка распахнулся, видны короткая полотняная рубашка и сильные загорелые ноги, непреодолимо притягивающие взгляд полицейского.

Лаланд встает, идет к холодильнику за водой. Врач не рекомендует пить ледяную воду, но при одной только мысли о прохладном питье Лаланд охает от нетерпения. Путь до кухни кажется бесконечно долгим. Огромный американский холодильник, сверкающий белой эмалью, со скрипом отворяется. У Лаланда не хватает терпения наполнить стакан, он пьет прямо из бутылки, жадно глотая воду.

Привычным жестом Мерсье достает папиросу, закуривает. Забыл предложить Лоретте, а ведь только о ней и думает. Мало-помалу образ девушки из Канн с такой ясностью проступает в памяти, что он спрашивает себя, как он мог забыть о ней. В то время красота Лоретты смущала его, а сегодня, сидя в кресле напротив, она вымаливает его улыбку. Наклонив голову, он видит ее ноги; одна нога нервным движением коснулась другой. Сам не зная почему, он истолковал это как призыв. Эта мысль стесняет его, он поворачивается к мужу. Хорошо бы заговорить с ним, но он не смеет; выражение лица Корбье его смущает. Слепой уставился прямо на него, мертвые глаза как будто выслеживают его.

Вода в кастрюле у Олафа закипела. Шприц приготовлен. Он вынимает его и, держа двумя пальцами, выходит на палубу. Проходя мимо юнги, приказывает:

— Принеси кота к капитану.

Направляется к лестнице, ведущей в кубрик.

Повару не спится, с котом на руках он вышел на палубу. Юнга робко заглядывает в лицо Мишелю. Повар слышал приказание Олафа. Он видел шприц, он знает, как ему поступить. Мишель стоит не шевелясь. Юнга подходит ближе. Хочет оправдаться перед ним, но не находит нужных слов. Всем на борту известна привязанность повара к коту. Когда юнга подходит к нему вплотную, Мишель роняет кота на палубу.

— Беги, Мустафа, беги...

Словно поняв в чем дело, кот стремглав бросается прочь. Мальчик пытается его настичь, но тут же падает: Мишель подставил ему ножку. Юнга получает пинок ногой под ребро, он корчится от нестерпимой боли. Градом сыплются удары. Эдмунд не плачет, только прикрывает руками лицо. Мальчишка здесь ни при чем — Мишель это хорошо понимает, но надо же на ком-нибудь сорвать злобу...

0 часов 30 минут (по Гринвичу) в Париже

Мерсье достает из кармана часы, кладет на стол. Берет автоматическую ручку:

— У вас найдется немного бумаги?

Лоретта приносит небольшую пачку чистых листков.

— Вам помочь? — предлагает она. — Мне часто приходится стенографировать для мужа.

— Нет, спасибо. Буду писать сам.

Ответ должен был прозвучать по-деловому сдержанно, но Мерсье этот тон не удается. Лоретта, ничуть не смутившись, с радостью отметила перемену в обращении. Теперь она знает — она ему не безразлична. Разыгравшееся воображение мгновенно сочиняет целый роман: влюбленный доктор, напрасно старавшийся забыть ее после встречи в Каннах, решил воспользоваться этим неожиданным случаем, чтобы признаться в своей страсти. Дальше этого она не идет, но нежный взгляд, которым она окидывает Мерсье, выдает ее сокровенные мысли. Приемник оживает.

— Укол сделан, — говорит полицейский радиотехник.

Мерсье отвечает: сухой тон предназначен скорее для присутствующих в комнате, чем для его далеких слушателей. Лоретта понимает и улыбается. Муж ощупью отыскивает папиросу, закуривает, чиркнув зажигалкой.

Доктор приказывает:

— Передайте капитану, пусть внимательно наблюдает за поведением кота и сообщает мне обо всем, не упуская подробностей.

0 часов 30 минут (по Гринвичу) на борту «Марии Соренсен»

Олаф опускает кота на пол. Ларсен протирает шприц.

Кот делает несколько шагов и с жалобным мяуканием забивается под диван.

За окном, выходящим на палубу, появились лица рыбаков. Они удивленно наблюдают за происходящим в каюте. Олаф различает старого Петера, юнгу. Мишеля среди них нет.

Кот потягивается.

— Он как будто засыпает, — докладывает Олаф в микрофон.

Сообщение летит в Африку. Из Африки в Неаполь. Полицейский радиотехник шлет его в Париж.

24 часа 35 минут (по Гринвичу) в Париже

Доктор бормочет:

— Теперь он долго будет спать.

— Это опасно? — спрашивает Лоретта.

Мерсье не отвечает. На этот раз ему не приходится изображать из себя бесстрастного наблюдателя; он заметно взволнован.

Снова подходит к микрофону:

— Передайте капитану Ларсену приказ немедленно изолировать больного. Пусть продолжает сообщать о всех подробностях поведения кота. Остаюсь на приеме.

После некоторого колебания уверенным тоном продолжает:

— Обращаюсь к чувству долга всех участников этой передачи. Ни под каким предлогом нельзя оставлять прием. Повторяю: ни под каким предлогом. Цепочка, связывающая меня с кораблем, должна сохраниться до тех пор, пока не будет установлена регулярная связь.

0 часов 36 минут (по Гринвичу) в Неаполитанском заливе

Комиссар Ипполито скорчил недовольную гримасу. Вот и торчи теперь здесь неизвестно до каких пор. Весь интерес пропал. Охота закончена, д'Анжелантонио попался в сети. Не такая уже это крупная дичь, положим, но если через «доктора» можно будет добраться до контрабандистов и накрыть всю шайку, то, пожалуй, время потрачено не зря. Сидя в кресле, зевает от скуки: к чему было разыгрывать из себя ищейку! Кармела дремлет на стуле, набросив на колени одеяло, ног не видно. Правда, халат приоткрылся на груди, но любое зрелище в конце концов надоедает. Комиссар с тоской вспоминает о своей постели.

— Иногда, — ободряющим тоном замечает радист, — магнитная буря, разыгравшись, сразу успокаивается.

— Но чаще всего, — вмешивается дон Доменико, — она бушует часами.

Ипполито бросает на «доктора» уничтожающий взгляд. Что это? Он, кажется, вздумал издеваться над комиссаром? Но испытующее око полицейского не может обнаружить и тени насмешки на лице отца Кармелы.

0 часов 37 минут (по Гринвичу) в Титюи

Радист передал приказ доктора. У Этьена вырывается душераздирающий вздох.

— Вернусь пешком, — решает он.

Дорзиту необходимо позлиться, иначе он заснет.

— Пока мы здесь, ты отсюда не тронешься, — рычит он. — Ты что, приказа не слышал?

— Но моя жена...

— Очень ты ей нужен, родит и без тебя.

Негр, кажется, решил бунтовать:

— Вы не имеете права меня задерживать...

— Приказ есть приказ, и ты его выполнишь, хочется тебе этого или нет. Нечего было забавляться с приемником.

В разговор вступает Ван Рильст, поучительно изрекая:

— Грязная макака.

Дорзит, все еще под действием винных паров, хватает Этьена за шиворот, грубо трясет:

— Нет, каково? Является к тебе вот такая образина, беспокоит людей, разыгрывает из себя цивилизованного человека, — он, видите ли, интересуется кораблями, терпящими бедствие, — а теперь — пожалуйста, готов смыться. А мы, выходит, уже не в счет.

У Этьена на глазах слезы: Мария одна, Мария страдает, Мария кричит. Его дитя, маленький негритенок, должно родиться, а отец далеко. Что скажут язычники? Что христианство стремится подавить самые обычные человеческие чувства. Но христианство тут ни при чем, виноват он сам. Гордыня, проклятая гордыня. Он занялся делами, которые оказались слишком значительными, слишком серьезными для него. Ну, а как же милосердие? Он ведь хотел помочь людям в беде, и вот наказан... Этьен не может разобраться, прав он или виноват. Все

это слишком, слишком сложно. Единственное, чего бы он хотел, — чтобы отец Гросс, воспитавший его миссионер, оказался здесь и дал бы ему совет.

Лаланд приходит ему на выручку, как будто призыв к миссионеру оказал свое действие.

— Нельзя ли прекратить крик? — грубо говорит он Дорзиту. — Не могу передать сообщение. — И обращаясь к негру: — Мы сейчас позвоним в жандармерию в Зобра и попросим узнать, что с твоей женой.

Этьен улыбается. Одна машина причинила ему зло, зато другая придет на помощь, и он с благодарностью смотрит на аппарат на столе инженера.

0 часов 40 минут (по Гринвичу) на борту «Марии Соренсен»

Четыре рыбака несут на тюфяке больного Эрика на корму в барак, который обычно служит кладовой, Эрик стонет. Когда они выходят на палубу, сильный порыв ветра срывает с больного одеяло. Один из матросов подбирает его. Войдя в барак, рыбаки опускают свою ношу на пол и выходят.

— Почему его взяли от нас? — спрашивает смазчик Франк.

— Приказ капитана, — коротко отвечает Олаф.

Франк пожимает плечами. Не это его интересовало.

— А вот я, — говорит старик Петер, большой любитель поболтать, — видел однажды на Аляске человека с какой-то чудно́й болезнью. Сначала у него отвалилось ухо...

Все смеются. Старик возмущается:

— Отвалилось, говорю вам, упало прямо на землю. Он его подобрал. А потом отвалился кончик носа.

Петер обводит взглядом лица слушателей, но на этот раз никто не смеется, и он заключает:

— В общем он, что называется, распадался по частям.

— А ведь наш-то, братцы, заразный, — замечает Франк.

Его соседа по койке, Конрада, только что рвало, точь-в-точь как Эрика, когда тот свалился.

— Нечего было колоть Мустафу, — вмешивается в разговор обозленный Мишель, — и без того все ясно.

— Ну, а я так думаю, — ворчит четвертый рыбак, — от этих предосторожностей добра не жди.

Петер все стоит на своем:

— В такую погоду рыбу не ловят. Чего здесь торчать.

— Дед правильно говорит.

Франк рубит ладонью воздух:

— Спрашивается, чего ради мы здесь околачиваемся?

Все его поддерживают:

— Пора домой!

— Хватит! Шабаш!

Франк настроен решительнее других:

— Пойду скажу Ларсену, что команда требует возвращения в порт. Согласны?

Это уже другое дело.

Поставленные перед необходимостью принять конкретное решение, рыбаки колеблются: чувство дисциплины сильно развито у моряков.

Только один Мишель, небрежно сплюнув, отвечает:

— Лично я согласен. Плевать мне на ловлю.

Однако молчание остальных никак не походит на одобрение.

Олаф вернулся в каюту. Сел у приемника. Ларсен угрюмо посасывает трубку. Оба, отец и сын, смотрят на спящего кота, клубком свернувшегося около дивана.

0 часов 45 минут (по Гринвичу) в Париже

Мерсье позвонил в институт Пастера, вызвал дежурную сестру:

— Мартина, приготовьте, пожалуйста, срочно сыворотку. Ту, что в левом ящике, в самой глубине... Да нет же. Я сказал — в глубине ящика. Да, да. Упакуйте пять-шесть ампул, только хорошенько, как для отправки, я позвоню через несколько минут. Спасибо. Да.

Последнее «да» — ответ на неуместный вопрос Мартины, спросившей:

— Ты меня любишь?

Он ответил холодно, его раздражает ее навязчивость. К тому же это неправда, он не любит Мартину. Между ними никогда не было и речи о любви. Простые товари-

щеские отношения. К чему ей вдруг понадобилось спрашивать об этом по телефону, именно сейчас, да еще как раз тогда, когда у него серьезное поручение к ней? Из ревности, конечно. Мерсье припоминает, что, уходя с Лореттой, он не попрощался с Мартиной, и она, безусловно, ждала, что он скоро вернется.

Он вешает трубку и подходит к приемнику. Спрашивает у Корбье:

— Есть новости?

— Никаких.

Доктор садится. Он почти физически ощущает на себе поощрительный взгляд Лоретты. Вероятно и она думает о их отношениях. Все женщины одинаковы, они всегда думают об одном. Даже в то время, когда целому кораблю угрожает смертельная опасность, когда представляется возможность спасти жизнь далеких незнакомых людей, участвовать в одном из тех необычайных происшествий, которые будят в человеке мечты восторженной юности.

— Как вам нравится мой Милле, доктор?

Неожиданный вопрос слепого застает Мерсье врасплох. Ему приходится сделать усилие, сообразить, что его просят высказать мнение о картине, висящей на стене. Наугад отвечает:

— Очень хорош.

— Эта картина принадлежала нашей семье. Когда делили наследство, все мы — братья, сестры и я — хотели получить именно ее. Картина напоминала нам детство, гостиную матери, с ней было связано множество других воспоминаний. Никто из нас не хотел уступать. Тогда мы взяли шапку, бросили туда бумажки с нашими именами и стали тянуть жребий. Я оказался самым счастливым.

Молчание. Корбье продолжает:

— С тех пор я купил немало картин. Если верить знатокам, есть даже несколько очень ценных полотен. Но Милле мне дороже всех.

Мерсье озадаченно оглядывает голые стены. Кроме Милле — ни одной картины. Только большие светлые пятна в тех местах, где они когда-то висели.

Умоляющие жесты Лоретты объясняют ему все. Он вспоминает, что уже как-то слышал подобную историю. В ней тоже шла речь о слепом, воображавшем себя

обладателем многих ценностей, которые его близкие вынуждены были продать.

Чтобы прекратить ставшее невыносимым молчание, он обращается к Корбье:

— Вызовите, пожалуйста, судно... Надо узнать, что там нового.

0 часов 47 минут (по Гринвичу) в деревне Зобра

Бригадира внезапно разбудил пронзительный телефонный звонок. Спросонья он долго не может понять, что говорит ему инженер с шахты Титюи. Наконец лицо его проясняется. Оказывается, речь идет не о нарушении порядка, просто хотят навести справку.

— Нет, господин инженер, жена Луазо еще не родила. Откуда я знаю? Да потому, что отсюда слышно, как она кричит. Нет, господин инженер, не думаю, чтобы она сейчас рожала... Откуда я знаю? Она еще недостаточно громко кричит. У меня трое детей. Хорошо, господин инженер, немедленно дам знать.

0 часов 48 минут (по Гринвичу) в Титюи

Лаланд вешает трубку и улыбается. Луазо тоже улыбается во весь рот. Смеется Дорзит, смеется Ван Рильст, обнажив свои пожелтевшие от табака зубы.

Из приемника раздается голос полицейского радиотехника:

— Свяжитесь снова с «Марией Соренсен».

0 часов 50 минут (по Гринвичу) на борту «Марии Соренсен»

Кот проснулся. Медленно потягивается, трется о ножку дивана.

В дверь стучат.

— Войдите, — кричит Ларсен.

Появляется высокий рыбак. Он бледен. Капитану и Олафу все понятно с первого взгляда: Конрад тоже заболел. На одежде видны следы недавней рвоты.

— Расстегни пояс.

Больной показывает вздувшийся, покрытый пятнами живот. На бедре — характерная опухоль.

— Садись.

Конрад опускается на стул. Кажется, что он бледнеет на глазах. Взгляд пустой, ничего не выражающий. Грязное полотенце, обернутое вокруг головы, развязалось и упало, но он не замечает этого.

— Тебе больно?

Капитан надавливает пальцем пятна на животе матроса. Больной не реагирует.

— Не больно.

— Пить, — просит Конрад.

Олаф берет кувшин, выходит на палубу, наполняет водой из-под крана. Рыбаки молча наблюдают за ним.

— Отнесите в барак второй тюфяк, — приказывает Олаф.

Вернувшись в каюту, подходит к больному. Осторожно, стараясь не прикоснуться к нему, льет воду в пересохший от жажды рот. У Конрада вырывается глубокий вздох. Он поднимается.

— Сможешь дойти до барака?

Конрад поворачивается к капитану. Впервые, с тех пор как он вошел, взгляд его оживляется, в глазах дикий, животный ужас. Ларсен отводит глаза:

— Я вынужден изолировать тебя, по уставу.

Если у капитана появилось желание оправдаться, значит он действительно очень растерян. И какое жалкое оправдание! Ларсен заговорил об уставе! Такого еще никто не видал.

Но капитан уже взял себя в руки:

— Ну ладно, отправляйся...

Пошатываясь, матрос выходит из каюты. Рыбаки расступаются, пропуская его, провожают взглядом до барака.

В это время Олаф с тревогой спрашивает в микрофон:

— Чем они заболели?

По звеньям цепочки бежит ответ доктора Мерсье:

— Я не могу поставить диагноз, пока у меня нет окончательных результатов опыта с котом.

Кот начинает ходить по каюте.

Чтобы прогнать скуку, комиссар, дон Доменико и оба полицейских затеяли игру в карты.

— Интересно, чем же они больны? — задумчиво произносит дон Доменико.

— Во всяком случае, — говорит радиотехник, — не хотел бы я очутиться в их шкуре.

— Ну что же — играем или будем болтать? — недовольно ворчит комиссар.

В течение некоторого времени слышно только хлопанье карт о стол и возгласы игроков.

Входит Кармела, в руках у нее поднос. Ей хорошо известны обязанности хозяйки дома.

— Чашечку кофе, комиссар?

Ипполито смотрит ей прямо в глаза. Но ничего не может прочесть в них, кроме чистоты и наивности. Ему так и хочется запустить в Кармелу чашкой. Но он понимает, что это ни к чему не приведет. Он берет чашку с ворчанием, которое можно принять за благодарность. Себе же дает слово, что когда-нибудь встретится с Кармелой, чтобы воздать ей сторицей. Достаточно повидал он на своем веку подобных девушек, ему-то хорошо известно, чем кончит та, что стоит перед ним, уж в этом-то он не сомневается.

Но пока Кармела не кажется обеспокоенной своим будущим. Она подходит к отцу, наклоняется. При этом обозначаются округлости, на которые полицейские искоса поглядывают.

Неожиданно в приемнике слышится голос Ланда:

— С корабля передают: кот проявляет признаки беспокойства.

Техник переходит на передачу и говорит:

— Сообщение принято.

Потом вызывает:

— Алло, Париж... алло, Париж... Вы меня слышите? Перехожу на прием.

Корбье отвечает:

— Сообщение принято. Прием.

— С корабля передают: кот проявляет признаки беспокойства.

1 час (по Гринвичу) в Париже

Доктор Мерсье что-то записывает.

Лоретта читает, перегнувшись через его плечо. Он резко оборачивается, и Лоретта заливается краской, словно ее застали за каким-то непристойным занятием, словно она себя выдала: ей кажется — доктор понял, что, наклоняясь к нему, она повиновалась непреодолимому желанию физически приблизиться к мужчине, коснуться его.

— Это опасно? — спрашивает она, чтобы оправиться от смущения.

Он не отвечает. Только она одна почувствовала, что произошло. Ги не взглянул на нее. Он даже не слышал ее вопроса; все его мысли сосредоточены сейчас на одном — сформулировать диагноз. Он ни на минуту не забывает о тяжелой ответственности, лежащей на нем. Лоретта испытывает чувство ненависти к неизвестным, отнимающим у нее внимание Ги, но уже через минуту она с восхищением наблюдает за ним, когда он, подойдя к микрофону, приказывает связным передать по цепи подробные точные вопросы, которые он только что набросал на клочке бумаги.

1 час 5 минут (по Гринвичу) на борту «Марии Соренсен»

На палубе рыбаки, прижавшись носами к стеклу каюты, как зачарованные следят за котом. Кот кружится на месте. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Шерсть встала дыбом и блестит от пота, глаза горят. Ларсен с тревогой спрашивает себя, чем все это кончится, мысленно признаваясь, что переживает самый тяжелый момент за все время плаванья. Все сразу навалилось на него: корабль вдали от порта, изолирован магнитной бурей, и он, Ларсен, чувствует себя совершенно безоружным перед лицом этой странной болезни.

Он хорошо знает своих людей, видит, как нарастает среди них глухое недовольство. Им страшно, а против паники разум бессилен. Пока их удерживает дисциплина, но еще немного — и она развалится. Что же он будет тогда делать?

Кот вертится волчком, он точно обезумел. Олаф встретился глазами с Мишелем. Во взгляде кока он прочел такую жгучую ненависть, что мороз пробежал у него по коже. Этот человек способен его убить. Старый болван этот Мишель... Женился поздно на некрасивой, но очень молодой женщине, которая сделала его посмешищем всей деревни. Мишель, работавший на консервной фабрике, решил снова пойти в море, чтобы только не видеть жену. Но жалованье посылает ей аккуратно. На корабле его уважают. Это рыбак, знающий свое дело. Он никогда ни с кем не ссорился. Повсюду таскает за собой этого кота, но кто бы мог подумать, что он к нему так привязался? Животные остаются животными, а люди есть люди. Но Мишель больше привязан к коту, чем к жене. В сущности, после того, что было у него с ней, это понятно. Он любит кота больше всех на свете. Олаф догадывается, что именно на него обрушится гнев кока. Это, конечно, несправедливо, но и здесь Мишеля нельзя упрекнуть: ведь это Олаф передал приказ забрать кота. Кот вскакивает на мебель, мечется по каюте.

По цепочке радиосвязи, из уст в уста передаются короткие сообщения Олафа.

Наконец кот валится около дивана.

— Он совершенно обессилел, — говорит Ларсен.

1 час 10 минут (по Гринвичу) в Неаполитанском заливе

Играть перестали. Брошенные карты выделяются на столе необычными разноцветными пятнами. В беспорядке стоят опустевшие кофейные чашки. На одной из них — широкая красная полоса: след губной помады Кармелы. На Кармеле по-прежнему халат, но губы подкрашены. Она единственная, кто слушает радио невнимательно. Скоро придет на свидание Дженаро. Что-то будет? Кармела не боится отца, она боится Дженаро. У него, вероятно, нет ни малейшего желания наткнуться на компанию полицейских. Она знает, что не имеет влияния на своего жениха: он слишком красив, слишком уверен в себе. Кармела отлично знает, что он мог бы иметь любую девушку, которая ему понравится. Уступая ему, она надеялась тем самым привязать его к себе

окончательно. В какой-то степени ей это удалось: Дженаро порядочный человек, он чувствует себя связанным словом, которое дал. Но это слово не что иное, как новая цепь для Кармелы и новое право на нее, которого добился парень. Дженаро теперь уверен, что она не сможет его бросить, чтобы он ни сделал. Он пользуется этим. Когда-нибудь он женится на ней, но она будет его рабой всю жизнь. Дженаро будет полновластным хозяином, а она должна будет хранить ему безупречную верность. Кармела смирилась со своей судьбой. В их селении все мужья стоят друг друга. Такова уж участь женщин — быть обманутыми. Однако... в этой комнате пять мужчин, и каждый из них так или иначе в течение этого вечера пытался показать ей, что она желанна ему. Кармела отнюдь не так наивна, она отлично понимает, что скрывается под хмурым видом и грубыми манерами комиссара. Она привыкла к ухаживаниям и часто забавляется, кокетничая с мужчинами. А что тут такого? Она принадлежит Дженаро.

Полицейский радиотехник передает новое сообщение: коту все хуже.

На лице дона Доменико отвращение.

— Терпеть не могу, когда мучают животных.

Ипполито бросает на него иронический взгляд. Но доктор неуязвим. Он всегда все в жизни принимал всерьез и поэтому постоянно оставался за бортом: действительность ускользала от него, пока он гонялся за ее призраком.

1 час 12 минут (по Гринвичу) в Париже

Мерсье исписал до конца лежащий перед ним лист бумаги. Он весь в напряжении, он чувствует всю серьезность диагноза, который должен поставить, и все же его волнует пылкое увлечение Лоретты; он не может заставить себя оставаться равнодушным. Теперь она даже и не старается скрыть своего возбуждения. Она с таким явным нетерпением ждет от доктора призывного жеста, что кровь бросается ему в лицо. И в то же мгновение вспыхивают щеки Лоретты, как если бы она и Ги жили уже одной жизнью.

Корбье беспокойно ерзает в кресле. С губ его срывается еле заметный вздох, но в ушах доктора он звучит

как внезапный окрик, возвращающий к действительности. Его раздражение переходит в гнев. Он начинает ненавидеть эту женщину, которая, как только они встретились, не перестает соблазнять его в присутствии мужа. Он еще сильнее ненавидит ее за то, что чуть не поддался искушению. В раздражении он пытается убедить себя, что Лоретта потеряла всю свою красоту, мысленно повторяет: «Женщина не первой молодости, вот и все». Он пытается представить себе ее стройное, но увядшее тело, дряблые мускулы, потерявшую упругость кожу. Но так как ему не удается убедить себя в том, что нарисованный им жалкий образ правдив, он говорит себе, что она, наверное, отдавалась всем без разбора, не отказывая никому, что ее поведение ясно говорит об этом.

Мерсье больше не в состоянии выносить этого молчания. Если он сейчас же не скажет ей какую-нибудь колкость, то станет сообщником этой неврастенички.

— Стакан воды, пожалуйста.

Это почти невежливо. Мерсье говорит это таким тоном, каким обращается к санитаркам в больнице. Лоретта сейчас же поднялась. Он уже жалеет о том, что дал ей повод оказать ему услугу. Она тотчас использует эту возможность и заботливо спрашивает:

— Может быть, вы предпочитаете вино?

Довольный, что нашелся предлог, который позволяет ему выразить свою неприязнь, он резко отвечает:

— Я просил воды.

На этот раз Мерсье был так сух и резок, как ему этого хотелось. В его поведении сомневаться не приходится. Лоретта, с которой он теперь ведет себя, как с противником, с врагом, не может принять это за любезность. Он враждебно смотрит ей прямо в глаза, чтобы довершить свою победу. Но Лоретта, кажется, не поняла его намерений. А может быть, не хочет их понять.

Она почти нежно улыбается ему. Потом выходит из комнаты. Мерсье понимает, что он заблуждается в своем гневе относительно Лоретты: у этой женщины нет опыта, она никогда не изменяла мужу, но, безусловно, готова это сделать, — на этот счет он вряд ли ошибается. А пока Лоретта не сознает этого. Сейчас она испытывает лишь очень приятное, очень теплое чувство от того, что находится рядом с Ги, и целиком отдается восхищению, которое он ей внушает, рада, что выполняет его

приказания. Лоретта знает, что Корбье обо всем догадался: они слишком долго прожили вместе, чтобы иметь секреты друг от друга. Но она не испытывает никаких угрызений совести, потому что не чувствует себя виноватой.

К счастью, радио прерывает ход их мыслей.

1 час 13 минут (по Гринвичу) на борту «Марии Соренсен»

Кот, пролежав долгое время неподвижно, встал и обходит каюту, прижимаясь к переборкам. Кажется, что каждый шаг стоит ему усилий. Он передвигается все медленнее. Временами останавливается, судорога сотрясает его, затем он снова начинает ходить.

— Он слабеет на глазах, — говорит Олаф в микрофон.

Сообщение передается по цепи. В то время когда оно достигает доктора Мерсье, рыбаки на судне видят, как несчастное животное двигается зигзагами, точно пьяное, натыкаясь на мебель. Грязным ногтем Мишель отодрал от окна щепку и нервно грызет ее. Эдмунд сел на палубе: он не может больше смотреть на агонию животного. От этого зрелища у него все внутри переворачивается. Юнга знает, что над его слабостью станут потешаться; на него посыплются удары — единственная шутка, доступная этим грубым людям. Но он согласен на все, только бы не видеть, как подыхает этот несчастный кот.

За стеклом — невозмутимые лица рыбаков. Они стоят неподвижно, точно окаменели; свинцовая тишина воцарилась в каюте.

Кот шатается, падает, снова встает, делает еще несколько шагов, потом валится на пол. Лапы вытягиваются, он дергается, весь извиваясь, кажется — вот-вот его разорвет на части. Страшная конвульсия сотрясает тело, которое затем неожиданно обмякает. Ларсен подходит, щупает его. Кот мертв.

Сообщение летит от приемника к приемнику. После долгого молчания Лаланд вызывает:

— Капитан Ларсен, доктор Мерсье предлагает вам

попросить всех выйти из каюты, ему нужно сообщить кое-что вам лично.

Рыбаки выходят. Олаф задраивает иллюминаторы.

— Я слушаю, — говорит капитан. — Я один с моим сыном. Перехожу на прием.

Ожидание ответа, который должен последовать по радио, тянется очень долго, на этот раз оно кажется обоим невыносимым. Наконец раздается голос Лаланда:

— Доктор просит передать, что у вас на борту опасная заразная болезнь. Надо немедленно принять меры против распространения инфекции; вам угрожает опасность. Она угрожает не только вам и вашему экипажу, но и всем тем, кто приблизится к вашему судну...

1 час 16 минут (по Гринвичу) в Неаполе

— Почему он не хочет сказать им название болезни? — спрашивает Доменико, выражая вслух беспокойство других.

— Чтобы не напугать их, — замечает радист.

— Значит, это очень опасно, — говорит Ипполито.

— Он и не скрывал этого.

Все говорят сразу:

— Может быть, доктор не уверен в своем диагнозе? — предполагает Кармела.

— Вернее всего, речь идет о чуме.

Эту мысль высказал дон Доменико. Остальные тотчас ухватились за нее.

— Заразная болезнь...

— Которая может угрожать не только экипажу, но и всем, кто приблизится к кораблю.

— Чума или холера.

Кармела крестится; мужчины один за другим следуют ее примеру.

1 час 18 минут (по Гринвичу) в Титюи

Ужас охватывает также и тех людей, которые составляют в Конго другое звено цепи.

Дорзит, Ван Рильст и Этьен, на минуту переставший думать о своей жене, с тревогой слушают Лаланда, который продолжает передавать страшное сообщение.

— Не впадайте в панику. Вам срочно вышлют сыворотку, которая даст возможность задержать распространение инфекции. А пока строго выполняйте следующие указания... Возьмите бумагу и записывайте. Капитан Ларсен, вы слышите меня? Прием.

Лаланд поворачивает ручку, раздается голос Ларсена:

— Сообщение принято. Я хотел бы узнать от доктора название болезни, которой заразились мои люди. Перехожу на прием.

Лаланд отвечает:

— Доктор просит передать: название болезни не имеет значения. Медицинское определение вам ничем не поможет. Берите карандаш и записывайте.

1 час 20 минут (по Гринвичу) в Париже

Мерсье поднимается.

— Прошу вас, господин Корбье, оставайтесь на приеме. Я займусь сывороткой.

— Каков ваш план, доктор?

Впервые за долгий промежуток времени слепой заговорил. Мерсье благодарен ему за это вмешательство. В нем крепнет уверенность, что тот план, ради осуществления которого они, мужчины, будут действовать заодно, на пользу общего дела, гораздо важнее недоразумения, возникшего между ними по вине Лоретты. Он отвечает поспешно, его радует, что между ним и Корбье полное единодушие.

— Я свяжусь с больницей в Осло — это ближайший к кораблю порт. Там должны быть санитарные самолеты для экстренных случаев; если нет — они затребуют из армии. Я пошлю им сыворотку.

— Вы уверены, что у них ее нет?

— Да. Проверю еще раз, но я удивился бы, узнав, что у них есть сыворотка, которую институт Пастера производит в очень небольшом количестве, так как она служит для борьбы с тропической болезнью, по существу говоря, неизвестной в Европе, особенно в северных странах.

— Как вы объясняете в таком случае появление этой болезни на борту корабля?

Вопрос задала Лоретта. Поэтому Мерсье, отвечая, не может удержаться, чтобы не показать свое раздражение. Но обращается он к Корбье:

— Первый заболевший, бациллоноситель, был взят на корабль в Антверпене. Он возвращался из Голландской Индии.

— Сколько времени длится инкубационный период?

— Очень мало. Это и наталкивает меня на мысль, что больной заразился перед самым отплытием, возможно в антверпенском порту, от кого-то из матросов с того корабля, на котором прибыл.

— И вы думаете, что он мог заразить остальных?

— Как только поднялся на борт «Марии Соренсен».

— Всех?

— Возможно.

— Значит, по-вашему, заболеть должны все члены команды?

— Рано или поздно, да. Длительность инкубационного периода будет зависеть от силы сопротивляемости организма. Поэтому дорога каждая минута.

Доктор, уже начинающий терять терпение при этом допросе, идет к двери, но Корбье снова спрашивает:

— Когда уходит первый самолет на Осло?

— Понятия не имею.

— Лоретта!

Она уже поняла приказ мужа и снимает телефонную трубку. Через минуту их соединяют с аэропортом в Орли. Утешительного мало: первый самолет, Париж — Копенгаген — Стокгольм, вылетает завтра в девять часов пятьдесят минут утра и прибывает в Осло только вечером.

— Что вы намерены делать?

Мерсье пожимает плечами. По какому праву Корбье берется контролировать его работу? Еще несколько минут назад он чувствовал, что близок слепому, но теперь он возмущается. Врач берет в нем верх, врач, не привыкший, чтобы какой-то профан указывал ему, что надо делать.

— Что я еще могу сделать? Передам сыворотку на утренний самолет, раз нет других.

— Подождите минутку.

Мерсье машинально смотрит на часы. Нет, это не жест нетерпенья. У него нет никаких оснований торопиться, самолет улетает только завтра утром. Слепой

попросил Лоретту снова вызвать Орли. Она передает ему трубку.

— Скажите, пожалуйста, какие самолеты вылетают из Орли, начиная с этой минуты, и в каких направлениях?

Некоторое время он молча слушает, потом прерывает телефониста:

— Два двадцать? Спасибо.

Вешает трубку.

— Есть самолет на Берлин в два часа двадцать минут. — И, почувствовав молчаливое удивление Мерсье, поясняет: — Неужели вы не понимаете? Берлин на полпути к Осло, если не ближе. В серьезных случаях у радиолюбителей принято посылать медикаменты первым попавшимся транспортом, который может доставить их хотя бы на следующий этап. Пока посылка находится в пути, предупреждают связного в той местности, куда она направлена. Связной получает ее и самым срочным образом отправляет дальше. А там следующий радиолюбитель заботится о том, чтобы переправить ее еще дальше. Так от этапа к этапу, от радиолюбителя к радиолюбителю часто можно выиграть несколько часов.

Мерсье заинтересован планом.

— Вы думаете, что мы сможем воспользоваться подобной цепочкой?

Вопрос бессмысленный и вполне оправдывает сухость ответа:

— А чем же вы занимались до сих пор?

— Вы правы: прошу меня извинить.

Теперь слепой берет в свои руки руководство действиями:

— Возьмите такси. Поезжайте в институт Пастера, заберите сыворотку и мчитесь в Орли. На аэродроме передадите сыворотку на самолет, отлетающий на Берлин.

— А захотят ли ее взять?

— Отдайте ее любому отзывчивому пассажиру, чтобы он провез ее нелегально. Кстати, это лучший способ. В противном случае дайте кому-нибудь из экипажа, неофициально.

Такой необычный способ беспокоит Мерсье:

— А вы не думаете, что, если я представился бы как врач института Пастера и объяснил положение, мне

удалось бы отправить сыворотку официальным путем?

— Это лучший способ провалить все дело. Вообще я сомневаюсь, что вы сможете чего-нибудь добиться. У вас нет нужной сноровки. Отдайте нам сыворотку, все остальное мы сделаем сами.

На этот раз Мерсье окончательно отбросил ту сердечность, с которой начался разговор. Он не нуждается в советах Корбье. Он категорически возражает:

— Сыворотку я не отдам никому. Пошлю ее единственно верным путем — утренним самолетом.

Корбье бледнеет от гнева:

— Вы отказываетесь доверить лекарство радиолюбителям?

— Я отказываюсь доверить жизнь нескольких людей случайным лицам, добрую волю которых я не отрицаю, но которые не понимают всей важности и ответственности этого поручения.

— Делайте как хотите. Посылайте вашу официальную посылку официальным путем. Но вы не вправе отказаться продать нам сыворотку, которую мы пошлем нашим путем.

Доктор не ожидал такого отпора. Он замечает:

— Вам понадобится рецепт...

— Не беспокойтесь. Мы найдем врача, который его напишет. Лоретта, позвони Кастелю в «Отель Дье»...

Впервые Лоретта не торопится выполнить его распоряжение.

Мерсье сдается.

— Не звоните, мадам. Я сам дам вам сыворотку.

Ни Корбье, ни доктор не предполагали, что их спор приведет к исполнению самого большого желания Лоретты — остаться наедине с Мерсье.

— Я иду с вами, доктор.

Пока она одевается, доктор и Корбье остаются одни. Им больше нечего сказать друг другу, и слепой испытывает тяжелое чувство досады. Правда, он победил, навязав другому свою волю, но при мысли о том, что жена уйдет с этим Ги Мерсье, с которым она весь вечер кокетничала, Корбье чувствует, что ему становится страшно. Что будет с ним, если Лоретта покинет его? С тех пор как Корбье ослеп, ему никогда не приходила в голову мысль о том, что жена может бросить его

и он останется один. Корбье стоило нечеловеческих усилий сдержаться и не выставить доктора за дверь, когда Мерсье с Лореттой вспоминали о Каннах.

Поэтому он был так воинственно настроен. Но гнев и нетерпение неожиданно сменяются в нем полнейшей растерянностью. Он всю свою жизнь показывал примеры храбрости, а теперь его терзает страх. Дикий, безумный страх парализует его настолько, что он бессилен бороться с обстоятельствами с обычной для него энергией. В другое время он, не задумываясь, настоял бы на своем и запретил бы жене идти с доктором. А сейчас он не смеет, молчит. Лоретта появляется на пороге в меховой шубке, в перчатках, в маленькой шапочке, которую она давно уже не надевала, весело объявляет:

— Вот и я.

Мерсье колеблется.

— Идите, идите, — неприветливо говорит им Корбье, — а то опоздаете.

Они молча выходят. Слепой не ответил доктору на его прощальные слова.

Лоретта и Ги спускаются рядом по лестнице.

— Вы смотрите на мою шубу? — говорит, улыбаясь, Лоретта. — Это остатки былой роскоши. Я делаю все, чтобы Поль не заметил перемены в нашем положении. Он и так достаточно мучает себя. Незачем ему знать, что, с тех пор как кончилась война, мне пришлось мало-помалу распродать все ценные вещи.

Мерсье смотрит на нее с недоумением. Когда же она была искренна? Ее нежность к мужу не кажется наигранной. И однако, когда они выходили, в ее взгляде сквозило явное торжество. Единственное предположение, до сих пор не приходившее в голову доктору, — полнейшая невинность Лоретты. Что же будет дальше? Он хотел бы чувствовать себя более уверенно в создавшемся положении. Снова он ощущает, как в нем нарастает раздражение против Лоретты. Зачем она познакомила его с мужем? Случайного любовника не приглашают к себе в дом, в особенности если муж слеп. Существует мужское целомудрие, которое женщинам не понять. Мерсье, конечно, неправ, но он не отдает себе в этом отчета. Например, он не хочет понять, что Лоретта вовсе не подготавливала сознательно то, что произошло. Обстоятельства сложи-

лись помимо ее воли. Чтобы постичь все эти простые истины, Ги Мерсье должен быть объективным. Но как раз этого ему и не хватает.

1 час 30 минут (по Гринвичу) на борту «Марии Соренсен»

Ларсен большими шагами ходит по каюте.

— Я давно бы уже изменил курс судна, если бы это к чему-нибудь привело. Но мы слишком далеко от ближайшего порта. Надо ждать. Вот все, что нам остается.

Сидя у передатчика, Олаф с удивлением разглядывает отца. Никогда раньше он не предполагал, что тот может быть так словоохотлив. Старику необходимо высказаться, облегчить душу. Пораженный суровой откровенностью отца, Олаф спрашивает:

— Чего ждать?

— Пока нам доставят эту проклятую сыворотку.

— А сумеют ли передать ее вовремя?

— Если не сумеют, мы все подохнем.

Олаф машинально вертит ручку настройки и смотрит на отца, расхаживающего из конца в конец каюты. Внезапно Ларсен останавливается, засунув руки в карманы штанов.

— Что говорят люди на борту?

— Подозревают, что это опасная болезнь.

Капитан пожимает плечами:

— Ну, на это наплевать. Лишь бы не было сказано одно слово.

— Название... болезни?

— Да.

— Ты думаешь, что это...

— Я знаю не больше твоего.

Олаф снова погружается в молчание. Его светлые глаза не видят каюты: на секунду взгляд упирается в переборку и, как будто проникая сквозь нее, устремляется вдаль. Он сонно кивает головой. Это покачивание раздражает Ларсена. Прямые светлые пряди волос Олафа отклоняются влево, вправо, снова влево точным и равномерным движением маятника. Ларсену хочется зажать их в кулак, рвануть так, чтобы Олаф вскрикнул, завопил, стал возмущаться, — только тогда он сможет почувствовать, что сын здесь, рядом.

— Что с тобой? О чем размечтался?

Не желая этого, Ларсен сам вызвал кризис. На этот раз Олафа прорвало: готовый к отпору, он стремительно нападает. Гнев отца ему больше не страшен.

— Хочу жениться на Кристине.

Но не гнев, а удивление отражается на лице Ларсена. Кто-то чужой вдруг ворвался издалека, — девушка, с льняными, гладко зачесанными волосами, собранными в жесткий, торчащий на затылке пучок, бледная, в черном платье, встала между ними. Капитан недоумевает:

— Так это о ней ты думаешь сейчас?

— Не только сейчас, всегда. Я знаю, что ты не согласен. Но я не отступлю. Как только вернемся — женюсь. И если из-за этого придется оставить судно, — ну что ж, найду себе другое место.

Этот взрыв долго сдерживаемых чувств при существующих обстоятельствах кажется Ларсену чудовищной нелепостью. Бесспорно, и речи быть не может, чтобы мальчик погубил свою жизнь, женившись на этой ничтожной женщине. Теперь Ларсен припоминает, что жена ему не раз говорила о Кристине, но ему казалось, что тон его ответов был достаточно ясен, чтобы отбить всякую охоту строить планы на этот счет. Однако какой толк спорить сейчас об этом? Всему свое время. Прежде всего надо выяснить, сумеют ли они вернуться невредимыми, а если вернутся, то когда? Вот что сейчас важно.

Олаф неправильно истолковал молчание отца. Он знает, что тот вспыльчив, и необычная пауза удивляет его. Может быть, отец вовсе не так враждебно настроен к его планам, как он себе представлял?

— Да разве это сейчас главное? — говорит, наконец, Ларсен.

— Да. Кристина беременна.

— Болван!

Капитан с ненавистью глядит на сына. Он с ним не ладит, пусть, но ведь это его дитя. Он готовил ему иное будущее. Куда это годится, — человек трудится всю жизнь, идет на жертвы, строит планы для всей семьи, а затем, в один прекрасный день все рушится по глупой прихоти какого-то мальчишки? Его сын пойдет по неправильному пути, испортит себе всю жизнь, а он не сможет даже вмешаться, чтобы запретить ему делать глупости! Кристина беременна. Судьба любит иногда

подшутить над людьми. Ларсен всегда радовался тому, что у него нет дочери, считал, что уберегся от подобных несчастных случаев. И вот теперь по милости Олафа он попал как раз в то положение, которого, как ему казалось, он счастливо избежал. Кристина беременна. Что ж, тем хуже для нее. Пусть выкручивается! Но эта мысль только на секунду, в пылу гнева, мелькает у Ларсена. Он знает, что такое поведение недостойно его; да и он сам осудил бы сына, поступи тот подобным образом. Тем более ему ненавистна будущая невестка, эта бесцветная жердь, сумевшая так ловко устроить свои дела. Никогда бы не подумал, что она такая интриганка. Впрочем, женщинам свойственна изворотливость: все они такие от рождения. Тут их и учить нечему. И что только Олаф мог в ней найти? Он всегда отличался плохим вкусом: постоянно ухаживал за самыми неинтересными девушками. Разыгрывал из себя молодого петуха, был, наверное, страшно горд своей победой, дурачина, и не подозревал даже, что эта Кристина окрутила его. Ларсен вспоминает: жена говорила, что Олаф ревнив. Можно ли быть таким слепым? Чего он боялся? Кому бы взбрело в голову отнять у него этакое сокровище? Не будь его, наверняка Кристина не нашла бы себе мужа. Ничего не поделаешь, факт налицо — Кристина беременна. И женить их придется.

Олаф встает, подходит к иллюминатору, открывает его и склоняется над бортом.

— Что ты делаешь?

Ответа нет. Отец, внезапно обеспокоившись, подходит к нему. Олафа рвет.

Ларсен, крепко стиснув зубы, подавляет готовый вырваться тревожный стон.

1 час 35 минут (по Гринвичу) в Париже

К двери института Пастера на улице Вожирар подкатывает такси. Из него выходит Мерсье.

— Подождите меня, — говорит он Лоретте.

Она улыбается ему. Мерсье думает, что поведение Лоретты, с тех пор как они вышли из дома, было гораздо более сдержанным, чем он ожидал. Ему хочется быть искренним с самим собой, — приходится при-

знаться, что он немного разочарован. Чего ж ты ждал, глупец? Что она первая бросится тебе на шею? Он не так глуп и не так самоуверен; однако весь вечер ему казалось, что он читает в ее глазах обещание, и, после того как он увидел ее торжествующую улыбку, он был почти убежден, что, как только они останутся одни, она сама поможет ему сделать первый шаг. Но вышло наоборот: как только они сели в такси, Лоретта забилась в угол и держалась явно настороже. Мерсье не понял, насколько невинно было ее кокетство; только в такси, оставшись с ним наедине, молодая женщина осознала некоторую двусмысленность своего положения. Она испугалась, а Мерсье не почувствовал, что ее беспокойство вызвано неуверенностью в самой себе.

Мартина, услышав шаги своего возлюбленного, открывает дверь лаборатории. По сравнению с тоненькой и гибкой Лореттой она кажется приземистой и грузной. Мерсье уже позабыл, что еще совсем недавно он находил жену Корбье поблекшей и непривлекательной. Мартина улыбается, показывая красивые, немного неровные зубы.

В больнице хорошо натоплено; доктор знает, что под халатом на Мартине почти ничего не надето. Привычным жестом он проводит рукой по ее пышному телу. Она не возражает, но почти сейчас же отстраняется и, показывая на пакет, лежащий на столе, спрашивает:

— Хорошо я упаковала посылку?

Мерсье внимательно разглядывает сверток. Одобрительно кивает головой.

— Сколько ампул сыворотки ты положила?

— Шесть, как ты просил.

— Отлично.

Доктор берет пакет и собирается выйти.

— Ты мог бы по крайней мере сказать, для кого это. Или я слишком много спрашиваю?

— Для команды одного корабля.

Он принимает резкий, официальный тон, как два часа тому назад с Лореттой. На этот раз действует инстинкт самообороны, это не ускользает от Мартины.

— Когда ты вернешься?

— Не знаю, иди домой.

— Лучше подожду тебя.

— Думаю, что до утра не вернусь, буду дежурить у приемника.

— Со старой приятельницей?

Мерсье, чувствуя себя виноватым, раздраженно отвечает:

— Со старой приятельницей и ее мужем. Удивительно, как женщины всегда думают только об одном!

Мартина пожимает плечами. Возмущение доктора ее ничуть не обманывает.

— Можешь спать с ней сколько хочешь, если тебе это нравится, — ты знаешь, я никогда не устраиваю сцен.

— Не говори глупостей, пожалуйста.

Она идет за ним в коридор и кричит вдогонку:

— Не советую снимать у нее с шеи косынку. Впрочем, может быть, тебе нравятся морщины.

Мерсье молча спускается с лестницы. Такси все еще стоит у подъезда.

— Вы поедете со мной в Орли?

Лоретта, по-видимому, искренно удивлена вопросом.

— Видите ли, когда я берусь за что-нибудь, то всегда довожу до конца, — говорит он.

Похоже, что эти слова могут иметь двоякий смысл. Ему приходит это в голову только сейчас, но ему хотелось бы, чтобы Лоретта поняла их в самом рискованном смысле. И она в самом деле понимает их так. Вместо ответа она только улыбается. Лоретте все еще страшно, но ее чувства меняются с удивительной быстротой. Она испытывает одновременно какое-то сладостное ощущение страха и кроткой покорности. Ей кажется, что она сдается под натиском, а между тем она страстно желает этого. Она жаждет бурного, грубого нападения и всем телом тянется к мужчине, который сидит с ней рядом. Но, несмотря на это, Лоретта старается придать разговору самый банальный характер.

Мерсье не подозревает, в каком смятении чувств его собеседница. С недоумением он смотрит, как она машинально оправляет на коленях юбку; дома ему показалось, что она с удовольствием выставляла напоказ кружева своей комбинации. Он уже ничего не понимает и поэтому отказывается рассуждать. Но чувства подсказали то, чего не угадывает рассудок. Голова у него кружится, однако он не может решиться сделать жест, который, вероятно, заставил бы Лоретту упасть к нему в объятия.

Он старается овладеть собой, показать свое равнодушие. Так же поступает и Лоретта. Трудная, восхитительная игра!

Они приезжают в Орли за несколько минут до отлета берлинского самолета. Пассажиры находятся в зале ожидания. Нет никакой возможности поговорить с ними. Мерсье и Лоретта направляются в помещение летного состава. Какой-то служащий останавливает их: чтобы пройти в ту часть аэродрома, нужен пропуск.

— Позовите кого-нибудь из экипажа самолета, — настаивает Мерсье.

Служащий подозрительно на него смотрит.

— Кого же именно?

— Скажите. что я врач из института Пастера и хочу поговорить с кем-нибудь.

Человек раздумывает довольно долго; драгоценные минуты уходят. Затем он качает головой:

— Не имею права покидать пост.

— Тогда пропустите меня! — восклицает доктор.

— Не могу, вам придется подняться, выписать пропуск в дирекции.

— Но это невозможно! Пока я буду расхаживать, самолет уйдет.

Служащий поднимает кверху руки, как бы снимая с себя ответственность:

— Что же я могу сделать? Нужно было приехать раньше.

Мерсье сжимает кулаки. Неужели пропадать всему из-за этого дурня, который знать ничего не хочет, кроме своих правил и запрещений?

Мерсье отказывается вступать с ним в объяснения. Может быть, директор аэропорта окажется более понимающим человеком. Во всяком случае, сейчас надежда только на него.

Доктор передает ампулы Лоретте:

— Держите пакет и ждите меня здесь, — и бежит к помещению директора.

Сквозь решетку Лоретте видно, как экипаж самолета направляется к посадочной площадке. Еще несколько минут — и самолет уйдет. Мысль о том, что сыворотка не будет послана, пугает ее. Она окликает проходящих мимо людей. Второй пилот, услышав ее голос, оборачивается. Она делает ему знак. Пилот возвращается и подходит

к решетке. Слегка удивленно слушает торопливые объяснения Лоретты. Она так взволнована, что ее с трудом можно понять. Пилоту приходилось уже перевозить медикаменты, но ему передавали их менее сложным способом.

— Кто придет за сывороткой в Берлине?

— Радиолюбитель.

— Его имя?

— Пока еще не известно, но кто-нибудь придет обязательно.

— Как же я его узнаю?

— Он сам подойдет к вам.

— Скажите ему, чтобы он спросил Эрнеста Сирне.

Пилот бегом догоняет своих товарищей.

— Блондинки преследуют тебя даже здесь, — смеется первый пилот Кармон.

Сирне показывает пакет и рассказывает о поручении.

— Ты думаешь, могут быть неприятности в таможне?

— По положению нам запрещено перевозить товары.

— Ведь это же медикаменты.

— А ты в этом уверен? Открывал пакет?

Сирне немного колеблется. Потом пожимает плечами.

— Я ей верю.

Кармон улыбается. Ему двадцать девять лет, он на три года старше Сирне, поэтому он принимает покровительственный тон.

— Веришь только потому, что это женщина, и потому, что она хорошенькая? Ты по крайней мере спросил у нее имя и адрес?

— Не успел.

Теперь он сам жалеет об этом. Как можно быть таким несообразительным! Он разглядывает пакет со всех сторон, в надежде найти на нем имя отправителя. И действительно находит: «Институт Пастера, Париж».

— Видишь? Это ампулы с сывороткой.

— Возможно, но это тебе не поможет отыскать блондинку.

Тем временем Мерсье возвращается к Лоретте, которая все еще стоит у решетки. Доктор в ярости. Он видел, как ушел самолет.

— Вы только послушайте! Директор на совещании и не мог меня принять, его заместителя нет, а секретарша не решилась взять на себя ответственность. Вот как рабо-

тают во Франции все эти учреждения! Необходимо поставить в известность всех, пора покончить с этим безобразием! Уверен, что из-за их бюрократических порядков погибло немало человеческих жизней. — Он умолкает, заметив улыбку Лоретты. — А где же пакет?

Она с торжеством рассказывает, как ей удалось отправить сыворотку, и Мерсье испытывает искреннее желанье ее расцеловать. Он берет Лоретту под руку, и они направляются к выходу. Мерсье слегка прижимает ее к себе; радостное волнение, взаимная нежность сближают их теперь. Как будто этой ночью судьба забавляется тем, что заставляет их переживать всю гамму чувств, которые мужчина и женщина могут испытывать друг к другу.

В такси она прислоняется головой к его плечу. Он ласково гладит ее по волосам.

— Никогда бы не подумал, чтобы вы могли так смело обратиться к пилотам.

— О, вы меня плохо знаете, — отвечает Лоретта, улыбаясь. — Когда я была молоденькой девушкой, я была самой смелой из всех моих подруг... Могла поспорить с кем угодно, ничего не боялась. Я сильно изменилась.

— Не нахожу.

— Ну, как же. Все переменилось. Мне еще нет двадцати девяти лет. Не верите? Вы даже не узнали меня: для своих лет я старуха. Это невесело.

Глаза Лоретты полны слез. Доктору хочется сказать что-нибудь, утешить ее, но он не находит нужных слов. Лоретта продолжает:

— Вот уже восемь лет, как мой муж ослеп! Каждый год жизни с ним нужно считать за три. Я не жалуюсь, я говорю то, что есть. Поль был чудесный, когда мы поженились.

— Он и теперь такой.

— Вы не можете себе представить, какой он был чуткий, внимательный, деликатный. Обыкновенно баловни судьбы бывают эгоистами. Но он никогда не был эгоистом по отношению ко мне. Я была всего-навсего хорошенькой девчонкой, каких много. У меня даже состояния не было, а Поль был умен, богат, красив, любим всеми. Где бы он ни появлялся, он повсюду был первый. Я говорила себе, что мое счастье не может длиться долго, я не смогу удержать такого человека. Ни разу я не почувствовала, что нежность его ко мне уменьшается. Он

всегда был мил, обходителен, в хорошем настроении. До того дня, когда...

Лоретта разражается рыданиями. Она вынимает из сумочки платок, сморкается, вытирает глаза.

— Я его не упрекаю. Когда случилось несчастье, он был тверд. А я потеряла голову. Плакала, приходила в отчаяние, а он поддерживал, утешал меня, как будто это я потеряла зрение. Поль был уверен, что вылечится, и в конце концов заставил и меня поверить в это. Каждый день мы строили планы на будущее. Он говорил, что когда снова станет зрячим, мы поедем в Индию...

— Понимаю, постепенно он терял мужество.

— Не постепенно, а сразу, в день консилиума. Когда врачи сказали ему, что надежды больше нет, что он останется слепым на всю жизнь, я поняла, до какой степени Поль был уверен в своем выздоровлении. Он был сломан, разбит, как будто силы, которые его поддерживали, внезапно оставили его. Я лишилась опоры, которую всегда находила в нем; он превратился в несчастное, растерянное существо, которое, вздыхая и жалуясь, цеплялось за меня. А я не знала, как ему помочь, — ведь я сама так нуждалась в поддержке. Я думала, что сойду с ума, хотела покончить с собой. Меня удержал страх за судьбу Поля. Я поборола себя. Но какой ценой, — в этом вы сами убедились.

Мерсье стремится прервать ее, он боится, что она опять заплачет. Но Лоретта продолжает:

— Дайте мне высказаться. Так мне легче. Мне нужно перед кем-нибудь излить свое горе. Если бы вы знали, как давно я не встречала друга. Мы оторваны от людей, мы все время одни в старом доме, который постепенно разрушается. Все наши деньги мы прожили.

Вначале, когда Мерсье заметил влечение к нему Лоретты и решил, что она кокетничает с ним, он строго осудил ее. Лоретта казалась ему циничной, бесстыдной, и он почти возненавидел ее за то, что она поставила его в ложное, неудобное положение перед мужем. Когда они вышли из дому, Мерсье решил дать ей суровый урок, поставить ее на место; несмотря на резкий тон последнего разговора с Корбье, Мерсье чувствовал симпатию к слепому. Однако испытанное им легкое разочарование, вызванное сдержанным поведением Лоретты, и дразнящие намеки Мартины прогнали его нарочитую холодность, ко-

торая постепенно уступила место все более настойчивому, требовательному чувству. Сейчас Мерсье был переполнен восхищением и нежностью к молодой женщине, которая появилась в его жизни всего несколько часов назад.

Ему хотелось бы найти средство осушить ее слезы, но он понимал, что она должна выплакаться, что ей хорошо с ним. И Мерсье тоже чувствует себя счастливым, как будто без всякого повода, но в действительности — это самый прекрасный повод: нет радости выше и светлей, чем радость зарождающейся любви.

2 часа 10 минут (по Гринвичу) на борту «Марии Соренсен»

На судне никому не спится. Рыбаки столпились на палубе. Кое-кто сидит прямо на полу. Вокруг вздымаются и падают черные пенистые валы, низко нависло небо. Холодно. Но все же они предпочитают оставаться на палубе и не спускаться в кубрик, где стоят койки больных.

Судно сильно накренилось. Со скрипом отворяется дверь барака, в котором лежат двое заболевших. Приподняв голову, все уставились на дверь. Ее створка ходит из стороны в сторону, подчиняясь наклонам судна. Наконец кто-то, не выдержав, срывается с места и резким толчком захлопывает ее.

Франк, Мишель и еще двое играют в карты. Около каждого из них — стопка монет. Они ведут крупную игру. На борту запрещено играть на деньги, но кто теперь станет следить за нарушением порядка?

Старый Петер, утомивший всех своей болтовней, что-то рассказывает юнге — единственному, кто еще согласен слушать его россказни. Облокотившись на поручни, Эдмунд стоит около старика.

— Во время прошлой войны, — не последней, а четырнадцатого года, — поднимаюсь это я раз на палубу, и что я вижу? Все море покрыто обломками: ящики, всякая там мебель, тряпки. И все это плавает себе вперемешку с телами утопленников. А на утопленниках английская форма. Немцы потопили корабль, который шел из Индии.

— Да, — говорит мальчик, чтобы что-нибудь сказать. — Должно быть, это было здо́рово.

— Почему здо́рово? — возражает старик, выведенный из себя тем, что его перебили. — Ты как откроешь рот, так брякнешь глупость. Ничего тут нет особенного. Сказано тебе, что была война. А во время войны такое зрелище совершенно обыкновенная вещь. Оно и видно, что ты не знаешь, что за штука война. В последнюю войну все море, можно сказать, было покрыто обломками.

В каюте капитан положил Олафа на диван.

— Ну что, лучше?

Больной не отвечает. Он проводит по лицу горячей от жара рукой.

— Это от переутомления, ты нервничаешь, — говорит отец.

Неужели капитан Ларсен превратился в слабую женщину? Кого он хочет обмануть? Себя или своего сына? Совершенно ясно, что Олаф тоже заболел. Если бы на его месте был любой другой рыбак, тот уже наверняка лежал бы в бараке для заболевших. Все эти увертки ни к чему. Придется перевести его туда.

Губы молодого человека зашевелились, но говорит он так тихо, что Ларсен не разбирает слов.

Он наклоняется к сыну:

— Что? Что ты сказал?

Больной что-то произносит. Капитан волнуется:

— Постарайся говорить погромче. Ничего не слышно.

— Третий месяц... — чуть громче произносит Олаф. — Кристина на третьем месяце.

Ларсен выпрямляется. Тяжелыми шагами подходит к приемнику, поворачивает ручку, вызывает:

— КТК... Говорит КТК. Всем, всем, всем. Вы меня слышите?

2 часа 15 минут (по Гринвичу) в Титюи

— Я вас слышу, — отвечает Лаланд. — Говорите, КТК...

Связь внезапно обрывается.

Приемник гаснет.

— Что случилось? — спрашивает Этьен.

Инженер быстро проверяет аппарат и сразу же устанавливает причину аварии: села батарея, долгое время не бывшая в употреблении.

— У вас есть запасная батарея?

— Нет, я, видите ли, почти не пользовался приемником.

Дорзит почесывает нос:

— Надо что-то предпринять.

Лаланду хочется влепить ему пощечину. «Конечно, старая пивная бочка, конечно, жирный боров, надо что-то предпринять. Чего же ты ждешь? Приступай! Я, что ли, должен, по-твоему, снова вставать? Я болен, я дрожу от лихорадки, третий день не встаю с постели. Вы ночью врываетесь ко мне в дом, пьете мое виски, сидите, развалясь, в моих креслах, а я глаз не смыкаю, чтобы наладить связь между Неаполем и этим кораблем, на который я плевать хотел. И когда наконец тебе представился случай оказаться полезным, ты даже пошевелиться не хочешь?»

Так как Лаланд молчит и, по-видимому, не намерен действовать, плантатор тяжело поднимается с кресла. Он расталкивает Ван Рильста.

— А ну-ка. Пошли. Возьмем батарею с твоей машины.

Торговец хлопком с трудом встает. Он шумно сопит. Дорзит подталкивает его.

— Сюда, сюда. — И обращаясь к Этьену: — Ты! Посвети нам. Ступай вперед!

2 часа 20 минут (по Гринвичу) в Париже

Снова квартира на Марсовом поле. Мерсье и Лоретта застали Корбье в сильном волнении. Он пытался установить связь с радиолюбителем из Берлина, но ответа добиться не удалось. Неужели его действительно никто не слышит? Что за ночь, в самом деле!

Доктор предлагает обратиться к услугам официальной радиостанции. Лоретта взглядом дает ему понять, что он совершил промах. Одна мысль о том, чтобы прибегнуть к помощи официальной организации, выводит слепого из себя. Какой был от них толк до сих пор, от этих официальных организаций? Поймал ли призыв корабля хотя бы один из бесчисленных контрольных постов, разбросанных по всему свету? Кем было передано сообщение в Париж? Кто установил связь с институтом Пастера? Каким путем была отправлена сыворотка? Разве прием, оказанный доктору в управлении аэродрома, не доста-

точно поясняет, что полагаться можно только на добрую волю нескольких человек, а не на волокиту бюрократических организаций? Он кричит, нервничает, а Мерсье с теплотой и грустью думает о жизни Лоретты, вынужденной постоянно сносить грубость и срывы настроения мужа. Он поворачивается к молодой женщине. Они обмениваются взглядом заговорщиков за спиной Корбье, который теперь пытается наладить связь с любителем из Брауншвейга.

2 часа 16 минут (по Гринвичу) в Брауншвейге

Корбье знает, что Эжен Холлендорф сидит в это время у приемника. Немецкий радиолюбитель — ветеран войны. После жестокой лихорадки, перенесенной в России, он страдает хроническими головными болями, которые не дают ему спать. Вот уже несколько лет Эжен почти все ночи проводит у приемника.

— Вы меня слышите?

— Слышу, Корбье.

Уходящая вдаль панорама тесно прилепившихся друг к другу крыш. Развалины. Узкие средневековые улички. Среди руин несколько полуразрушенных домов. В уцелевшей их части жизнь идет своим чередом; в этих жилищах ютятся люди. Несмотря на поздний час, в одном из окон горит свет. Здесь живет Холлендорф. Ему сорок восемь лет. На его большой облысевшей голове торчат редкие клочки светлых волос. Изможденное лицо с глубокими морщинами придает всему его облику несколько романтический вид. Он сейчас же узнает голос Корбье.

— Я тебя слушаю.

Познакомившись в эфире и узнав, что оба они — жертвы войны, Холлендорф и Корбье вскоре перешли на ты. Почти каждую ночь, когда все кругом спит, они ведут долгую задушевную беседу. Эти два человека, никогда не видавшие один другого, уже неоднократно поведали друг другу свои тайные мысли, которые они скрывают от близких.

Немец кивает головой, слушая Корбье:

— Браво, Поль. Хорошая работенка предстоит радиолюбителям.

— У тебя установлена связь с каким-нибудь коротковолновиком в Берлине?

— Да, и не с одним. Я их сейчас всех подниму по тревоге.

— Летчика, который повез сыворотку, зовут Сирне.

— Записано. Когда самолет приземлится, его уже будут ждать. Обещаю тебе. До свидания.

— Держи меня в курсе.

Как только Корбье заканчивает передачу, Холлендорф вызывает Берлин. После нескольких попыток, не добившись ответа, он снимает телефонную трубку:

— Мадмуазель, соедините меня с междугородной. Срочный разговор с Берлином.

2 часа 20 минут (по Гринвичу) в Титюи

Приемник Лаланда все еще не работает. Дорзит и Ван Рильст принесли батарею от автомашины, но наладить аппарат не удается. Очевидно, дело не в питании. Лаланд продолжает копаться в приемнике, пытается разобраться в схеме. Болезнь вконец изнурила его, и каждое движение стоит ему больших усилий. Этьен изо всех сил старается помочь. С отверткой в руке он разбирает детали по указанию инженера. Приемник давно заброшен и находится в плачевном состоянии. Кое-где уже появилась ржавчина.

— Ну как? — спрашивает Дорзит.

Этот вопрос выводит Лаланда из себя.

— Что как?

— Нашли причину поломки?

— Да их тут, наверное, добрая дюжина.

— Если вы не сумеете починить приемник, дело может принять серьезный оборот.

— Для чего вы говорите мне об этом? Может быть, вы воображаете, что я сам не могу этого понять?

Сердитый тон Лаланда раздражает плантатора, и он ворчит:

— С вами говорят вежливо, могли бы отвечать тем же.

Нервы Лаланда не выдерживают. Он срывается в крике:

— Я говорю так, как мне нравится. Если вас это не устраивает, можете убираться. Я не приглашал вас в гости, вы сами расположились у меня. Для ремонта приемника вы мне не нужны. Какой толк в том, что вы здесь торчите!

Дорзит замахивается красным жирным кулаком. Ван Рильст хватает его за руки прежде, чем тот успевает нанести удар. Инженер видел, как Дорзит подскочил к нему, но даже не пытается защищаться.

— Оставь его в покое, — говорит Ван Рильст. — Ты же видишь, что у него лихорадка. Он не понимает, что говорит.

Этьен тоже решил вмешаться:

— Не глупите, чего ради вы затеваете драку?

Обрадовавшись жертве, на которой можно сорвать свой гнев, Дорзит обрушивается на негра:

— Заткни глотку, макака. Тебя не спрашивают. Здесь белые решают свои дела, понятно? Если люди одной породы хотят драться, они и дерутся. А обезьянам нечего вмешиваться! Их это не касается.

Инженер уже взял себя в руки. Он недоволен собой и сожалеет о своей опрометчивости: до сих пор ему так хорошо удавалось скрывать свои чувства. В недружелюбном взгляде, который он бросает на Дорзита, сквозит страх, не нажил ли он себе могущественного врага? За двадцать пять лет, прожитых им в джунглях, плантатор сумел завязать многочисленные связи в правлении компании. Плохой отзыв написать недолго. Господа, живущие в Брюсселе, расположившиеся в комфортабельных кабинетах с искусственным климатом и со старинной мебелью, окруженные разодетыми секретаршами, всегда склонны строго судить тех, кого они посылают подыхать под солнцем тропиков. Одно ехидное слово, вскользь брошенное в подходящий момент, может вас лишить вознаграждения за тридцать месяцев тропического зноя, лихорадки и москитов. Лаланд протягивает руку Дорзиту.

— Простите меня, я не хотел вас оскорбить.

Дорзит молча пожимает руку.

— Все мы раздражены, — заключает Ван Рильст. — Самое главное — поскорее установить связь с кораблем.

2 часа 25 минут (по Гринвичу)
на борту «Марии Соренсен»

Ларсену надоело посылать сигналы в пустоту, он отходит от стола. Снова «Мария Соренсен» отрезана от всего мира.

Олаф заснул, вытянувшись на диване. Пот струится у него по лицу.

При виде больного сына капитан испытывает такую острую боль, что готов завыть. Никогда в жизни ему еще не приходилось так страдать. Он забыл обо всем, его преследует одна мысль: Олаф в опасности. Ларсен не понимает, как мог он спрашивать себя, любит ли он своего мальчика. На мгновение промелькнувшая мысль, что Олаф может умереть раньше, чем он, до такой степени потрясает его, что у него перехватывает дыхание. Что ему теперь до Кристины? Если Олаф любит ее, пусть женится. Что должен желать отец своему сыну? Только счастья.

Ларсен вспоминает разговор, который у него произошел когда-то с местным деревенским пастором: жена пожаловалась на него пастору, и тот пришел помирить их. При первых же словах пастора капитан возмутился: все, что я делаю, — я делаю для ее же блага. А пастор его поправил: для ее блага, как вы его понимаете. Сперва Ларсен подумал, что он смеется: ясное дело, для ее блага, как он, Ларсен, его понимает. Разве может быть иначе? Пастор посмотрел ему прямо в глаза и спросил: «Вы никогда не задумывались над тем, что у вашей жены может быть другое понятие о благе, чем у вас?» Ларсен понял, но не согласился: женщина никогда не знает, что для нее лучше. Принимать решения — это дело главы семьи, отца. Так было со дня сотворения мира, и никто на это не жалуется. Жена Ларсена тоже на это не жаловалась. Очень скоро после замужества она стала принимать жизнь такой, какую он ей предлагал. Никогда она не возмущалась. Но значит ли это, что она была счастлива? — спрашивает себя капитан.

И тотчас же отвечает: а кто счастлив на этом свете? Сам-то он разве счастлив? Ведь ему приходится нести на себе всю ответственность за существование семьи, за ее благосостояние, ответственность за командование судном, ответственность перед хозяевами за улов. Разве кто-нибудь помогает ему в этих делах? Понимают ли его хотя бы? Отдает кто-нибудь должное его усилиям? Его заботы никого не интересуют. Он борется в одиночку. Каждый одинок в этой жизни. Одинока его жена со своими невзгодами и разбитыми надеждами, одинок он сам, и Олаф тоже одинок. Но у сына есть эта долговязая бело-

брысая девица. Они, должно быть, страдали, не зная, как им преодолеть препятствия, встающие на пути к их счастью. Главным препятствием был он, отец Олафа, человек, для которого с момента рождения мальчика весь смысл жизни заключался в том, чтобы сделать его счастливым. Почему он препятствовал женитьбе юноши? Потому, что желал ему лучшего. Именно поэтому он стал врагом своего сына. И Олаф не любил отца. Впервые капитан признался себе, что, быть может, у Олафа было свое понятие о собственном благе и, возможно, он был прав. Теперь уже Ларсен не знает, правильно ли он поступал, обращаясь с сыном так, как его отец обращался с ним самим. Что касается его, Ларсена, он любил своего отца, который до конца своих дней оставался для него образцом. Шли годы, и понемногу он сам все больше и больше становился похож на старого Густава Ларсена. Но времена изменились, как говорит его жена. И его сын пошел против него. Вероятно, он женится на Кристине. Женщина всегда сумеет добиться своего. Невестка, наверное, его возненавидит, — она его уже ненавидит, — и восстановит Олафа против родителей.

Мать, должно быть, будет переживать, станет обвинять его, отца. От подобных мыслей кровь приливает к голове Ларсена. Пусть убираются ко всем чертям! Он стукнул кулаком по столу и громко выругался. Но Олаф не слышит, он все еще спит. Отец нежно смотрит на него. «Господи, только бы он выздоровел! Сделай так, чтобы он выздоровел, господи, и я разрешу ему все, что он хочет, обещаю тебе... даже жениться на Кристине...»

2 часа 30 минут (по Гринвичу) в Брауншвейге

Холлендорф берет со стола пинцет. Осторожно приподнимает марку, внимательно разглядывает ее в лупу. Один из мельчайших зубчиков согнулся. Он аккуратно его выпрямляет: к счастью, зубчик цел. Перелистывает каталог, отыскивает стоимость марки. Это серия, увы, самая дешевая.

Телефонный звонок.

— Алло, говорит телефонистка. Берлин на проводе.

Пустая комната. Огромный письменный стол занимает большую ее часть. Черный, украшенный тяжелой резь-

бой, он говорит о долгих годах обеспеченного буржуазного существования, которого не могли потревожить две мировые войны. Большой книжный шкаф с кариатидами также напоминает об этом счастливом времени; о нем говорят и книги в солидных, прочных переплетах, и зеленые шторы, ниспадающие тяжелыми складками, и персидский ковер, и чуть потертые кожаные кресла, китайские статуэтки на полках, картины немецкой школы на стенах. Тишину уютного кабинета нарушает продолжительный телефонный звонок. В комнату входит старая служанка с заспанным лицом, запахивая на ходу халат и шаркая домашними туфлями. Снимает телефонную трубку.

— Доктора Мюллера нет дома, — говорит она с сильным крестьянским акцентом. — Он уехал в горы. Да, на каникулы. На несколько дней. Что-нибудь передать?

2 часа 35 минут (по Гринвичу) в Париже

Холлендорф только что сообщил французам, что первая попытка связаться с одним из радиолюбителей закончилась неудачей.

— Вызову другой номер...

— Действуй. Надо во что бы то ни стало связаться с Берлином, — настаивает Корбье.

— Будь спокоен, я своего добьюсь.

В комнате снова наступает гнетущая тишина. Каждый углубился в свои мысли. «О чем думает Корбье? — спрашивает себя доктор. — Он начал что-то подозревать с момента моего появления здесь. Но после того как мы вернулись из Орли, у него просто на лице написано, что он вот-вот устроит сцену. Завидую Лоретте, до чего она невозмутима! Надо полагать, мое присутствие здесь — хорошая разрядка для нее в этой кошмарной обстановке, с которой она, по-видимому, свыклась. Можно подумать, что ей уже не страшен мужний гнев. Вот уж чего не могу сказать о себе. Нет, Лоретта определенно соблазнительна. Восхитительная улыбка. Как это я мог разочароваться, увидев ее? Теперь она лучше, чем в дни нашего первого знакомства. Созрела. Девушкой Лоретта была, возможно, красивее, но теперь стала во много раз интереснее. Она станет моей любовницей при следующей нашей встрече;

она только и мечтает об этом. Ну, а с этим Корбье я больше никогда не увижусь. Хватит с меня одного такого вечера. Подумать только, что нас свело вместе? Корабль, терпящий бедствие! Удивительно, какие пути выбирает иногда судьба. Брошу ли я Мартину? Пока не знаю. Она нетребовательна, с ней удобно. С Лореттой, пожалуй, будет потруднее. Но какие у нее могут быть основания для ревности? Она ведь замужем. В конце концов я не хотел бы, чтобы она из-за меня ушла от мужа. Впрочем, уверен, что эта мысль даже не приходит ей в голову. Долг удерживает ее тут. Тем лучше, тем лучше. Не рискую быть особенно связанным, мужчина всегда нуждается в некоторой свободе».

Лоретта улыбается своим причудливым мыслям: она пробует представить себе Мерсье обнаженным. Ей это удается довольно легко, не потому, что она вспоминает Канны, а просто Поль — ее муж — служит сравнением. Доктор ниже ростом, у́же в груди. Должно быть, более волосат, судя по рукам. Мускулы, конечно, мягче, чем у Поля, Корбье — атлет. Лоретта мысленно проводит рукой по телу Мерсье и испытывает приятное ощущение, прикасаясь к мужским формам, которые ей нравится представлять себе нежными и немного детскими. Любопытнее всего, что, если бы Лоретту спросили, готова ли она стать любовницей доктора, она искренне ответила бы, что ничего еще не знает; однако она не думает, что это может случиться. Такова Лоретта, мечтать — любимое ее занятие. Она и девушкой была такая. Долгие часы, проведенные вдвоем, после несчастья с мужем, только усилили эту склонность. Она не видит в этом ничего плохого и дает своей фантазии полную свободу. Эта двадцатидевятилетняя женщина, знавшая в своей жизни лишь одного мужчину, сохранила все же большую смелость своей безудержной фантазии.

О чем думает муж? Ему представляется, что перед ним боксерская груша, которой он наносит удары. Груша отскакивает, возвращается, раскачиваясь все быстрее, и вдруг принимает очертания человеческого лица. Это лицо Мерсье. Доктор получает увесистые удары, наклоняет голову; удар в подбородок, голова ударяется о стену и снова покорно встречает кулак Корбье. Кровь течет из носа, из глаз, изо рта; залила все лицо. Руки Корбье в крови, это доставляет ему удовольствие. Он

застал их вместе. Сначала он разделается с мужчиной. Когда он вышвырнет его вон, станет мстить женщине. Месть будет медленной и утонченной. Лоретта будет ждать взрыва, он не последует, и тогда она успокоится, решит, что легко отделалась. Но она скоро разочаруется. Корбье думает, как начнется его месть: с ядовитых намеков, мелких уколов или грубых оскорблений. Пусть лучше над Лореттой нависнет угроза. Долгие месяцы он заставит ее жить в страхе. Она не будет знать, как и когда обрушится на нее его кара, будет вздрагивать при каждом движении мужа. Вот та острая приправа, которой не хватало им в семейной жизни, ставшей слишком монотонной... Корбье с ужасом сознает: он жалеет о том, что не обнаружил измену жены. Неужели он сходит с ума? Еще час тому назад он был подавлен мыслью, что Лоретта может его покинуть, а теперь думает лишь, как бы помучить ее. Однако это только кажущееся противоречие. Он страдает, и ему необходимо, чтобы другие тоже страдали. Кому же он охотнее причинит боль, как не женщине, которую любит?

Приемник внезапно оживает. Все вздрагивают.

Итальянцы сообщают, что связь с Африкой прервана. Порвалась тонкая нить, соединяющая их с кораблем. Что случилось?

— Продолжайте вызывать Зобру, мы остаемся на приеме.

И снова наступает тишина. Но это вторжение внешнего мира возвращает всех троих к действительности.

— Почему вы не сказали им, чем они больны? — спрашивает доктора Лоретта.

Ее вопрос — лишь предлог для того, чтобы заговорить с ним и улыбнуться. Это объяснение в любви.

— Я напрасно взволновал бы их.

В голосе доктора чувствуется невысказанная нежность.

Вмешивается Корбье. Его голос скрипуч, тон, как всегда, резок:

— Никогда не надо обманывать больных. Они больше чем кто-либо имеют право на истину.

Муж выдал себя. Лоретта закусывает губу.

Без всякого перехода Корбье спрашивает жену:

— Ты плакала?

Испуганная его прозорливостью, она лепечет:

— Нет. Чего ради мне плакать? Почему?

Он не отвечает. Но после ее настойчивых вопросов презрительно бросает:

— Мне так показалось, когда вы вернулись.

Мерсье достает из кармана сигарету, закуривает, избегая взгляда Лоретты.

2 часа 40 минут (по Гринвичу) на борту «Марии Соренсен»

Олаф открыл глаза. Ему лучше, сон освежил его. Ларсен смотрит на него в недоумении: неужели кризис миновал? Это было простое недомогание? Он не смеет надеяться. Несколько раз пытался убедить себя, что у сына нет ничего серьезного, волноваться нечего, но где-то в глубине сознания крепло убеждение, что Олаф — жертва той же болезни, что и остальные. Он и сейчас так думает.

Олаф сел на койке. Поймал взгляд отца и тотчас же отвел глаза. Он делает вид, что не замечает, с каким беспокойством отец следит за всеми его движениями, и идет к двери.

— Куда ты идешь?

— Пойду предупрежу их.

— Что ты собираешься им сказать?

— Скажу, чем они больны.

— Ты же ничего не знаешь.

— Чего ты боишься? Я тоже слушал радио и понял, что доктор молчал недаром. Они имеют право знать столько же, сколько и мы.

Капитан стучит кулаком по столу.

— Нет у них никаких прав, я здесь хозяин.

Ему показалось, что Олаф покачнулся, ухватился за шкаф, чтобы не упасть. Ларсен сразу смягчает тон:

— А для чего им это нужно?

— Они будут оберегаться, если еще не поздно.

— Как они могут оберегаться, подумай сам? Если для них можно что-то сделать — мы сделаем.

— Ну, тогда они хоть приготовятся к смерти, выскажут свои последние желания, помолятся. Каждый поступит по-своему. Но по крайней мере их не оставят подыхать как собак, не сказав даже, от чего они подыхают.

— Если сыворотка отправлена вовремя, они будут спасены и не узнают даже, какой опасности подвергались.

— А если они хотят о ней знать? Если я скажу им об этом, я, понимаешь?

Капитан заслоняет собой дверь:

— Не смей выходить! Я запрещаю!

Олаф смотрит на него, кровь бросается ему в лицо.

— Может, ты и подохнуть мне запретишь? У меня чума, холера или желтая лихорадка, черт его знает. Что мне до твоего запрета или разрешения? Я все равно конченный человек. Мне уж не вернуться в порт, не свидеться с Кристиной, и о ребенке я никогда не узнаю, а ты думаешь, что я буду считаться сейчас с дисциплиной и всеми выдумками, которыми ты пичкал меня столько лет подряд!

Он делает шаг вперед, но Ларсен преграждает ему дорогу:

— Пока я здесь, ты будешь подчиняться мне.

— Это мы еще посмотрим.

Олаф старается оттащить отца от двери. Ларсен отталкивает его и первый наносит удар. Тогда Олаф бьет Ларсена кулаком прямо в лицо. Капитан нагибает голову, пытается обхватить противника за пояс. Олаф увертывается и снова наносит удары. Ларсен бросается на него головой вперед. Олаф теряет равновесие, оба падают. Долгое время борются, как два диких зверя, цепляясь за мебель, опрокидывая стулья. Наконец молодой берет верх. Олаф ударяет отца головой об пол до тех пор, пока тот не перестает двигаться. Потом поднимается, пошатываясь идет к двери. Прежде чем выйти, берет из ящика бутылку с ромом, зубами вытаскивает пробку и жадно, захлебываясь, пьет.

3 часа (по Гринвичу) в Брауншвейге и в Берлине

— Соединяю, — сообщает гнусавый голос телефониста междугородной.

Прижав плечом к уху телефонную трубку, Холлендорф в ожидании ответа раскладывает марки «по росту». У него набралась полная серия. Любопытная штука — эти разноцветные картинки. Большинство людей не видит их. Торопливо наклеивают их на конверты, как де-

лал и сам Холлендорф до войны. Даже не замечают, что перед ними пейзажи, копии известных картин, портреты великих людей. Им и без того есть на что посмотреть. Они выходят из дома, идут по улице, отправляются в театр, в горы, ездят в поездах и машинах. Длинной чередой проходят мимо них картины жизни — бесплатное, нескончаемое кино; у них нет ни времени, ни даже желания приглядываться к мелочам. Но человек, которого болезнь лишила свободы, обреченный на постоянное прозябание в своей комнате, замурованный в четырех стенах, должен удовлетворить свою потребность видеть, разглядывая самые незначительные вещи. Ничто из окружающего не ускользает от его внимания. С тех пор как он болен, Холлендорф изучил до малейших подробностей окружающие его предметы, их форму, цвет. Ему знаком язык вещей; он также привязан к неодушевленному миру, как и к тем немногим людям, которые еще навещают его. До войны Холлендорф был инженером, руководил заводом. Теперь он — ткач. Этим ремеслом он занимался в ранней молодости и любит его, потому что оно спасло Холлендорфа от нищеты. Днем он работает один в своей комнате, заполненной пеньковыми нитями, которые мало-помалу превращаются в ткань; он разговаривает с ними, как будто они могут слышать его.

Наконец в трубке раздается голос. Слышно раздраженное ворчание, свидетельствующее о том, как недоволен Вилли Грюндель тем, что его подняли с постели: сопящий, огромный, с голой шеей, в пижаме, распахнутой на волосатой груди, Вилли Грюндель орет:

— Вы что, спятили? Воображаете, что я встану и побегу в Темпельгоф в такое время? — Вилли поворачивается и смотрит на циферблат будильника со светящимися цифрами. От резкого движения зеленое пуховое одеяло соскальзывает на пол. Герта стонет во сне, грузно переваливается на другой бок. Объяснения Холлендорфа никак не успокаивают гнева Вилли:

— На то есть власти. При чем тут частные лица? Обратитесь в полицию!

Герта проснулась. Она кроткая, невозмутимая женщина. Спокойно оглядывает комнату. Протесты мужа вызывают у Герты улыбку: его возмущение забавляет ее. Она нежно гладит его руку, но унять расходившегося Вилли не так-то легко.

— Если у меня есть любительский радиопередатчик, это еще не значит, что меня можно беспокоить в любое время. Когда я не на приеме, я имею право отдохнуть. Я работаю днем, а ночью сплю.

Он вешает трубку, не дав Холлендорфу привести другие доводы. Подбирая упавшее одеяло, брюзжит:

— Надо было бы запретить телефонистам вызывать частные квартиры в такое время.

Герта смеется. У нее светлые волосы, белое тело, лицо доброе, круглое и такое пухлое, что ямочки на щеках и маленькие, заплывшие жиром глазки на нем почти затерялись.

— Тебе все смешно, — продолжает ворчать Вилли, но уже более миролюбиво.

Герта молчит. Затих и Грюндель. Но вот он чувствует под одеялом настойчивое прикосновение полной ноги; некоторое время Вилли делает вид, что ничего не замечает, но в конце концов ему приходится уступить. При первом движении, которое он делает, чтобы придвинуться к Герте, она прижимается к нему всем своим пухлым телом. Вилли обнимает ее. У Герты мягкая, немного дряблая грудь с маленькими розовыми сосками.

3 часа 20 минут (по Гринвичу) в Титюи

Лаланду удалось, наконец, починить приемник. Пока он работает, остальные смотрят на него молча, не решаясь больше вмешиваться. При первых потрескиваниях у всех вырывается вздох облегчения.

Связь с Италией восстановлена. Полицейский техник, начинавший уже терять надежду отыскать их, передает добрую весть в Париж. Связь с кораблем установить труднее. «Мария Соренсен» не отвечает. В чем дело? Изменились атмосферные условия? Быть может, с антенной их будет лучше слышно? — размышляет Лаланд. Дорзит поднимается. Он понял, что надо делать. Этьен идет за ним.

— Можно попросить ваших боев помочь нам?

— Разумеется.

Но плантатор никогда не может долго сохранять спокойствие, особенно во время работы. С веранды Лаланд слышит, как он бушует, ругается, обрушивается на негров. Лаланд пожимает плечами. Дорзит уж не так ему анти-

патичен после того, как они сцепились в открытую. Теперь он перенес всю свою ненависть на Ван Рильста, который, развалившись в кресле, бессмысленно уставился на него. Инженер чувствует себя лучше, температура снизилась. Собственно говоря, не понятно почему, если вспомнить, как неосторожен он был сегодня ночью: вставал с постели, выходил на улицу. Возможно, кризис миновал или это результат нервного напряжения. Хочется пить. Но Лаланд не решается отойти от приемника; по очереди переходит с передачи на прием, боится пропустить вызов.

По мере того как силы возвращаются, он все больше увлекается своим делом. Не каждому доводится спасать людей, находящихся в море, за тысячи километров, давая им возможность получить медицинскую консультацию у врача в Париже. Лаланд завел себе этот приемник в Африке только потому, что всегда чувствовал склонность к приключениям бойскаутов. Он надеялся найти в Конго деятельную, даже шумную жизнь, широкий деловой размах; думал вернуться оттуда, накопив опыт и побольше денег. Вместо этого его немедленно засосала захолустная чиновничья рутина. Лаланд барахтался, запутавшись в повседневных трудностях. Вопросы, которые ему приходилось решать, мог бы решить обыкновенный счетовод. Впрочем, быть может, он и сам виноват. Значит, ему не хватает размаха, если он мог позволить, чтобы его засосало это удручающее болото. Уже давно Лаланд понял, что он не выдающийся человек. Никогда еще он не признавался себе в этом так открыто. Но, рано или поздно, все равно должен был осознать это. Что должен делать человек в его возрасте, установивший, что ему не хватает размаха? Прежде всего никому не дать заметить этого. Замаскироваться. Многие не по заслугам занимают высокие посты. Он будет одним из многих. Но его преимущество перед другими в том, что он хорошо знает себя. Лаланд не понимает, почему это открытие, или, вернее, чистосердечное признание, ему так приятно — как будто освободился от тяжелого гнета. С мыслями о том, что он герой, неутомимый, непреклонный, покончено. Теперь речь идет только о том, чтобы заставить поверить в это других. Легче ли это? Кто знает? Лаланд чувствует в себе большую способность притворяться, но новое сомнение охватывает его: не начинает ли он обольщаться, переоценивая себя?

3 часа 25 минут (по Гринвичу) на борту «Марии Соренсен»

В каюте капитана у приемника никого нет. Рация включена на прием, но никто не слышит передачи Лаланда.

Чума! Весть распространилась по судну с быстротой молнии. Так просто и вместе с тем трагично истолковали рыбаки слова Олафа.

Впрочем, они реагировали не сразу; некоторое время все молчали. Отказывались понимать случившееся. Но мало-помалу эта мысль дошла до их сознания. Им стало страшно. Животный страх сковал людей; паника, точно шквал, обрушилась на судно и потрясла его до основания. Первобытный ужас, поднявшись из самой глубины их существа, лишил рыбаков рассудка: растерянные, бледные, с всклокоченными волосами, с дикими, блуждающими глазами, они вопят все сразу. Угрозы, стоны, проклятия раздаются со всех сторон.

Франк срывает с себя рубашку и штаны, раздевается догола посреди кубрика, — смотрит, нет ли на теле подозрительных следов. Успокоенный осмотром, одевается. Его примеру следуют остальные. Скоро все помещение кишит раздетыми людьми, внимательно осматривающими друг друга. Боясь заразиться, каждый старается не дотрагиваться до соседей. Никто теперь не хочет подходить к постелям больных. В глазах у всех недоверие, вражда, ненависть. Каждый боится за себя и готов использовать любое оружие, чтобы защититься от опасности. Эдмунд обнаружил на груди прыщик. Вокруг него тотчас образовалась пустота. В ужасе мальчик замечает, что все избегают его, и маленькая опухоль кажется ему вдруг огромной и страшной. Глаза наполняются слезами, губы шепчут:

— Нет, не может быть...

Но на лицах окружающих Эдмунд не видит ни жалости, ни даже интереса. На них отражается лишь ужас, отвращение и брезгливость.

Петер пристально смотрит на юнгу. Смотрит также и на Олафа, который, обессилев в борьбе с отцом, опустился на пол. И старый дурень Петер вдруг неистово кричит:

— Те, кто должен был заразиться, уже заразились. Остальные не заболеют, если только не дадут себя заразить.

В этом, конечно, нет никакого смысла. Но разве могут рассуждать люди, целиком находящиеся во власти панического страха?

— Те, кто должен был заразиться, — заразились. Остальные здоровы...

Они повторяют эти слова, потому что им необходимо поверить в них, пытаются убедить себя, что страшная болезнь их не тронет.

— Надо только остерегаться заразы.

Вокруг Эдмунда и Олафа угрожающие лица, поднятые кулаки. Их заставили забрать тюфяки, к которым никто не хочет прикасаться, теснят к выходу. Они поднимаются по трапу, выходят на палубу, направляются к бараку, где лежат больные.

Однако рыбакам этого мало. Они должны обязательно как-то действовать, что-то предпринять, чтобы не оставаться один на один с охватившим их страхом смерти. Им необходимо доказать себе, что они борются против опасности, что они не пассивны. Присутствие несчастных, которые стонут за перегородкой, в нескольких метрах от них, выводит их из себя.

— Сжечь их вещи.

Неизвестно, кто предложил это. Рыбаки спускаются в кубрик. Пользуясь носовыми платками, тряпками, чем попало, чтобы предохранить себя от заразы, собирают и выносят на палубу личные вещи больных, чемоданы, простыни, одеяла — все, к чему прикасались зараженные. Собрав все в одну кучу, Франк обливает ее керосином. Петер щелкает зажигалкой. Ярко вспыхнувшее пламя в несколько минут пожирает добычу. В его зловещем свете лица и тени принимают чудовищные очертания. В обычное время все эти люди не обратили бы внимания, как странно искажаются их тени пляшущими языками пламени, но овладевшая ими тревога заставляет их бояться самых обыкновенных явлений. Торопливо разбрасывают ногами угли; летят за борт предметы, еще охваченные огнем. Последние остатки пламени угасают. На судне снова воцаряется мрак.

Он пугает рыбаков. Их все теперь пугает. Раздается чей-то злобный голос:

— За борт их...

Кто первый выкрикнул эти слова? Люди потеряли

всякую способность разбираться в чем-либо, они готовы на любое насилие.

— За борт! За борт!

Сначала решили так: положить больных в шлюпку и пустить их по воле волн. Ни один голос не поднялся в защиту несчастных, которые еще несколько минут назад были их товарищами. Отчаяние, животный страх за свою жизнь превратили людей в скотов; они способны на любой безумный поступок, лишь бы только избавиться от овладевшего ими ужаса.

— Не выпускать их из барака, — подсказал кто-то.

— Спустим баркас.

Неизвестно откуда появляются топоры.

Кок спускается в камбуз, открывает шкаф с провизией. Он возвращается с бутылками, до краев наполняет чарки. Спирт еще больше горячит головы.

Дверь капитанской рубки открывается. На мостике появляется Ларсен. Рыбаки оторопело смотрят на него, точно забыли о его присутствии на борту. При появлении капитана моряки замолкают; у них сильно развито чувство дисциплины. Ларсен очень бледен. Одежда в беспорядке. На лбу темнеет большой синяк. Струйка крови протянулась от угла рта и расплылась пятном на куртке и рубашке.

Ларсен идет к бараку, становится перед дверью. Расставив для устойчивости ноги, медленно вынимает из кармана револьвер и спокойно объявляет:

— Первый, кто сделает шаг вперед, получит пулю в лоб.

Он имеет на это право. Любой суд оправдает его и осудит нарушителей, которые, вероятно, уже никогда не смогут выйти в море. Рыбакам это известно. Никто не шелохнулся.

3 часа 30 минут (по Гринвичу) в Париже

Холлендорф только что сообщил, что все его усилия связаться с каким-нибудь берлинским радиолюбителем оказались тщетными. Он будет продолжать вызовы через эфир.

Мерсье бросает беспокойный взгляд в сторону Корбье; мертвые глаза слепого остановились на нем, и док-

тору кажется, что он читает в них угрозу. Они ненавидят друг друга. И все же не решаются порвать связь, заставляющую их бороться бок о бок за спасение незнакомых людей, и поэтому продолжают разыгрывать комедию человеческой солидарности в явном противоречии с их личными отношениями. Это тяготит их. Они французы, отсутствие логики их смущает.

Лоретта не чувствует их терзаний. Влюбленными глазами она нежно смотрит на Мерсье. В ее поведении нет никакого лицемерия. Если бы муж мог видеть ее, — а он по-своему ее видит, — она держала бы себя точно так же. Лоретта не сопротивляется своему влечению, да и не способна сопротивляться, если бы даже и хотела.

— Вы думаете, Холлендорфа услышат? — спрашивает доктор.

— Как его могут услышать, если до сих пор он ничего не добился?

Корбье чувствует, что ответил резко. И уже более любезно добавляет:

— Правда, атмосферные условия могут измениться каждую минуту.

Во всяком случае, они должны что-то предпринять. Они не могут примириться с сознанием, что все их усилия напрасны. Мерсье и Корбье вызывают по телефону аэродром Темпельхоф в Берлине и одновременно пытаются связаться по радио с Италией.

3 часа 35 минут (по Гринвичу) в Неаполитанском заливе

Горячий ветер сирокко, налетевший из Африки, колышет апельсиновые деревья вдоль узкой дороги, по которой, засунув руки в карманы, насвистывая, медленно бредет Дженаро. Он опаздывает на свидание, но не торопится, так как уверен, что Кармела ждет. Она наверняка не спит: не сомкнула глаз, смотрит на часы, прислушивается, что делает отец. Убедившись, что тот заснул, наверное тихонько встала и отодвинула дверной засов. Дженаро останется только толкнуть дверь. Он пройдет на цыпочках через столовую; ему хорошо знакома эта комната. Дженаро знает, как стоит мебель, и сумеет пробраться, ничего не задевая. Кармела бросится

к нему, как только он переступит порог. Спрыгнув с кровати, побежит навстречу босая, в короткой ночной рубашке. Дженаро нравится, как она прижимается. Редко девушка отдается так самозабвенно и до конца. Это приятно мужчине. Дженаро размышляет, что будет дальше. Кармела его жена. Но он предпочел бы, чтобы она оставалась у своего отца, а он приходил бы на свидания тайком, как сейчас. Да вот согласится ли она? До сих пор Кармела ни в чем ему не противоречила. А как же отец? Старый дон Доменико закатит грандиозный скандал, если застанет их вдвоем. Этого ни в коем случае нельзя допустить.

Дженаро проник за решетку, тихо, стараясь не скрипеть, поднимается по лестнице. Открывает дверь. Заметив комиссара и полицейских, круто поворачивается и идет вниз. Но у полицейских рефлексы действуют безотказно. Через минуту задержанный Дженаро стоит перед комиссаром.

— Это тот самый контрабандист, которого ты ждал?

Озадаченный дон Доменико не знает, что ответить.

— Это он принес тебе письмо с корабля?

— Вы с ума сошли, — протестует возмущенный Дженаро. — Никогда в жизни я не был контрабандистом.

— Так. Для чего же ты пришел сюда?

Дженаро не отвечает. Ипполито обращается к дону Доменико:

— Чего ради этот молодец шляется к вам среди ночи?

— Понятия не имею, — бормочет недоуменно старик.

Двадцатилетний опыт научил комиссара распознавать правду в ответах, а тон, каким Доменико произносит эти слова, не оставляет никаких сомнений. Комиссар окидывает взглядом Дженаро и строго требует:

— Жду ваших объяснений.

Дженаро не расположен отвечать... Он молча, с независимым видом, пожимает плечами.

— Ну что же, — заключает комиссар, — пойдешь в тюрьму, просидишь там до тех пор, пока не скажешь, зачем пришел сюда.

В разговор вмешивается Кармела:

— Дженаро пришел на свидание со мной.

Все поворачиваются в ее сторону. Девушка смело выдерживает устремленные на нее взгляды. Ипполито с трудом скрывает улыбку. Дженаро протестует.

— Зачем ты им сказала? Я не боюсь тюрьмы.

— А я не боюсь правды. Пусть все знают, что я люблю тебя.

Сержант подходит к комиссару, сообщает, что ему известно о Дженаро:

— Дженаро Сарда славится в поселке, как большой бабник. Вот только позавчера кабатчик Моро застукал его со своей женой Консеттиной.

— Это правда? — спрашивает Кармела своего любовника.

Дженаро молчит. Она опускает голову. Тяжелый удар! Особенно после того, как она смело, во всеуслышание заявила о своей любви. Непрошенная слеза скользит по щеке, скатывается на стол.

— И тебе не стыдно! — громовым голосом укоряет дон Доменико.

Он бросается к Кармеле и, прежде чем его успевают остановить, бьет ее наотмашь по лицу. Она покорно сносит пощечины, не сделав в свою защиту ни одного движения. Дженаро подходит к Кармеле. Вне себя от возмущения, дон Доменико бросается к нему, но его останавливает голос комиссара:

— Спокойно. После сведете счеты.

Дженаро тихо говорит:

— Дон Доменико, я женюсь на Кармеле.

— Вор! — визжит старик. — Похититель чужой чести! У меня в доме!.. В моем собственном доме! Ты украл у меня дочь тайком, исподтишка! Мечтал о райском житье с ней? Клянусь, ты ее не получишь!

— Но я готов загладить...

— Загладить, несчастный! Не хватало только, чтобы ты не думал жениться! Но прежде я подам на тебя жалобу в полицию. Я требую, чтоб тебя посадили в тюрьму. Нельзя безнаказанно похищать у людей добрую славу. А я-то при встречах разговаривал с тобой, как с другом, ведь я знаю всю твою семью. Мог ли я думать, что ты преступник!

— Я был неправ, простите меня.

— Простить! Когда оскорбление уже нанесено!

— Это я виновата, — кричит Кармела. — Я люблю его. Это я велела ему прийти сюда.

— Замолчи! Тебя не спрашивают!

— Не буду молчать! Это меня касается.

— Замолчи, говорят тебе!

— Я не позволю затыкать себе рот!

Но Дженаро встает на сторону отца:

— Не вмешивайся, Кармела. Мы должны поговорить, как мужчина с мужчиной.

Кармела тотчас умолкает.

Дон Доменико снова начинает угрожать:

— Я подам жалобу в полицию.

На этот раз терпение комиссара истощается:

— Полиция — это мы. Станем мы заниматься любовными похождениями вашей дочери, у нас и без того хватит дела.

Но «доктора» не так-то легко заставить замолчать. Если уж он уверен в своей правоте, то не даст запугать себя.

— Всякий гражданин имеет право на то, чтобы его охраняла полиция. Этот тип проник ко мне ночью...

Его указательный палец направлен на Дженаро, тот покорно извиняется:

— Вы правы, дон Доменико. Я вас уважаю, я всегда вас уважал, вас и вашу семью. Если вы хотите побить меня — бейте, это будет справедливо.

— Конечно, это было бы справедливо. И без тебя знаю. Не думай, что делаешь мне одолжение.

— Я никогда не позволил бы себе...

— Я говорю это потому, что мне не понравился твой тон.

Перепалка затянулась бы, вероятно, надолго, но ее прерывает полицейский радиотехник:

— Да замолчите вы, черт побери! Ничего не слышно. Париж требует наладить связь с кораблем.

3 часа 40 минут (по Гринвичу) в Титюи

— Этот проклятый корабль больше не отвечает, — повторяет Лаланд.

Итальянский радиотехник передает:

— Париж просит, — продолжайте добиваться ответа.

— Я уже давно пытаюсь его добиться.

— Не падайте духом.

— Ладно.

Еще один разговаривает тоном начальника. Можно подумать, что этот радиотехник один отвечает за спасение «Марии Соренсен». Лаланду очень хочется послать его ко всем чертям. Но он сдерживается. Отныне он будет смотреть на жизнь совершенно по-другому; он должен помнить, что отсутствие врожденных способностей ему придется заменить соответствующими качествами характера. Лаланд обещает себе стать спокойным и уравновешенным. Это ему, наверно, легко удастся. До сих пор он очень высоко ценил себя и все свои неудачи воспринимал как несправедливость. Теперь же, когда Лаланд вполне трезво оценил себя по достоинству, у него будет меньше оснований считать себя непонятым. Время от времени у Лаланда бывают такие крутые повороты: он вдруг видит себя другим человеком и открывает в себе качества и недостатки, о которых раньше и не подозревал. Тогда он намечает твердую жизненную программу, которая наиболее отвечает новому, созданному им образу. Лаланд тщательно придерживается этой программы в течение нескольких дней, пока не начинает сомневаться в своем последнем определении. Его истинная сущность берет верх. Разочарованный, он предается меланхолии, пессимизму, изводит своих подчиненных, мучается сам, пережевывая в течение дня свои несчастья, которые в большинстве случаев оказываются вымышленными. Но наступает момент, когда ему вдруг начинает казаться, что он нашел причину своих неудач. Новое, неожиданное и блестящее открытие, и, полный энтузиазма, он устремляется навстречу новым надеждам и новым неизбежным разочарованиям.

Сейчас Лаланд в восторге. Он вызывает корабль, который не отвечает, но во что бы то ни стало надо добиться ответа. Он должен сделать это для себя, ради выгоды, которую сумеет извлечь из этого. Его мало интересует судьба команды. Лаланд думает о себе: случись это немного раньше, он считал бы себя единственным спасителем гибнущих рыбаков. Теперь Лаланд видит, что это спасение — дело рук многих, но он должен постараться как можно лучше использовать это для себя. Ведь именно он в течение многих часов, борясь с болезнью и сном, поддерживал связь с кораблем. Надо будет подать это в выгодном свете и таким образом поднять значение своей собственной роли. О Лаланде заговорят

в газетах. Слава о подвиге инженера дойдет до слуха его хозяев, и это, возможно, будет означать для него повышение по службе.

3 часа 50 минут (по Гринвичу) в Париже

Из Африки никаких новостей: связь до сих пор не установлена. Нет сообщений из Брауншвейга: Холлендорфу не удалось соединиться с Берлином.

Груды окурков растут в пепельницах.

Корбье нервно барабанит пальцами по приемнику. Этот стук выводит доктора из себя, он с трудом сдерживается, чтобы не крикнуть: «Хватит!» Лоретта, заметив его раздражение, улыбается. Мерсье, просияв, улыбается ей в ответ.

— Долго еще ждать звонка с междугородной? — спрашивает Корбье.

— Подожди. Немного терпения.

— Вызови снова.

Послушная, как всегда, Лоретта поднимается, набирает номер.

— Берлин? Через час.

— А если заказать срочный разговор?

— Вряд ли это особенно ускорит — линия перегружена.

Лоретта поднимает руку к телефонной трубке.

— Ну, как быть?

— Закажи все-таки срочный разговор.

Она послушно звонит на междугородную, но при этом невольно думает о том, что счет за телефонные переговоры вырастет в конце месяца на несколько лишних тысяч франков. А при их бюджете это заметный расход. Радио стоит дорого, особенно когда люди играют в спасителей.

Лоретта задумывается, поток ее мыслей следует самым случайным направлениям.

Вечер может обойтись ее мужу гораздо дороже, чем он это себе представляет. Но вот ей самой не приходится жаловаться на радиолюбителей. Если бы не они, она не встретила бы Мерсье. К чему приведет их встреча, она не знает. Но она уже успела провести несколько часов, о которых не жалеет. Необыкновенные часы, полные чудесных переживаний. Надо будет потом еще не

раз мысленно вернуться к ним, снова все обстоятельно перебрать в памяти, стараясь ничего не забыть. Тут хватит пищи на целые недели одиночества. Может случиться, что эта встреча будет иметь иное продолжение; ум Лоретты не отличается строгостью определений. Она не в состоянии ни представить себе Мерсье, занимающего место в ее прошлой жизни, ни то, как сложилась бы ее жизнь с ним в будущем. Лоретта отдается течению событий, не делая ни малейшего усилия, чтобы изменить их. Если бы ей пришлось рассуждать по этому поводу, она стала бы уверять, что бесполезно пытаться управлять своей судьбой: все равно окажешься там, где тебе предназначено быть. Этот безотчетный фатализм определял ее поведение всю жизнь: она была согласна с тем, что Мерсье пришел, будет согласна, если он останется, смирится, если он уйдет, как была согласна с тем, что когда-то к ней пришел Корбье, так же, как перенесла несчастье, сломившее его жизнь. Лоретта радовалась или грустила по поводу этих событий, точно так же, как ее предки, крестьяне, ликовали или грустили при наступлении ненастных дней или ясной погоды, новолуния или наводнения — пассивно и безропотно.

— Ждать целый час! — говорит Корбье. — Многовато. Самолет будет уже там.

Лоретта и Мерсье вздрагивают. Мысли обоих были далеко в этот момент.

— Чего ждать целый час?

— Да разговора с Берлином! Разве телефонистка не сказала, что надо ждать целый час?

— Да, сказала.

— Так что же тебя удивляет?

— Нет... ничего.

— Ты как будто с неба свалилась.

— Ну, что ты!

— Уверен, что доктор со мной согласится. Что вы скажете, Мерсье?

— Я слишком мало знаю вашу супругу, чтобы иметь возможность судить.

— Вы лицемер.

Ги передернуло.

— Простите?

— Лицемер, как все хорошо воспитанные люди. Как вы думаете, что я хотел сказать?

— Да... не знаю. У вас странная манера выражаться.

— Она вам не нравится? А между тем вам следовало бы привыкнуть к манерам больных.

— Вы правы. Простите, что я забыл об этом.

— Это я должен извиниться.

Лоретта размышляет, как бы положить конец этой пикировке.

— Можно предложить вам по чашке кофе?

Это все, что она могла придумать.

— С удовольствием, — улыбается Мерсье, — это полезно.

— Мне не нужно, — сухо говорит слепой.

4 часа (по Гринвичу) в Брауншвейге

Фриц Холлендорф тяжело поднимается с места и идет в соседнюю комнату. У него есть готовое решение волнующей его задачи. Как он раньше не подумал об этом?

На кровати спит мальчик лет десяти. Ганси один уцелел при бомбежке, во время которой погибли под обломками дома жена и дочь Холлендорфа. Некоторое время отец с нежностью смотрит на сына, потом, после недолгого раздумья, трясет его за плечо. Ганси мгновенно просыпается:

— Что такое?

— Одевайся.

Ганси трет глаза.

— Но ведь еще совсем темно, — возражает он, — наверное, еще слишком рано.

— Я разбудил тебя не для того, чтобы идти в школу. Слушай меня хорошенько. Для тебя есть важное поручение.

Веки ребенка снова смыкаются. Отец идет в кухню, открывает кран и, намочив в воде губку, приносит ее сыну.

— Протри лицо. Это прогонит сон.

У Холлендорфа созрел план: только американцы могут быстро передать сообщение в Берлин — значит, именно к ним и надо обратиться. Но где можно найти в четыре часа утра военного, который согласился бы взяться за выполнение такой необычной задачи? Одна надежда —

на офицерский клуб. Там иногда засиживаются очень поздно. Надо испробовать этот шанс. Холлендорф не решается отойти от приемника. Может быть, ему все-таки удастся связаться с каким-нибудь радиолюбителем, который согласится отправиться в Темпельхоф. К тому же Ганси гораздо легче пробраться в клуб, чем ему. Он хитрый, как обезьянка. Послевоенные трудности заставили ребят пройти суровую школу.

— Если тебе удастся убедить какого-нибудь офицера помочь нам, ты попросишь его прийти сюда. Объясни, что это очень срочно. Дело касается корабля, на борту которого есть больные; мы пытаемся переслать им сыворотку.

Холлендорф тащит Ганси в кухню и подставляет его голову под кран; теперь он уже вполне уверен, что сын окончательно проснулся.

Пока Ганси одевается, Халлендорф торопливо набрасывает записку, которую мальчик должен отнести в клуб.

4 часа 10 минут (по Гринвичу) на борту «Марии Соренсен»

Лаланд сдержал слово, данное полицейскому радиотехнику из Италии. Через равные промежутки, примерно каждые пять минут, повторяет он свой вызов.

По палубе судна с трудом тащится человек. У него подкашиваются ноги, кружится голова. Он с ужасом убеждается, что чувствует себя все хуже и хуже. Только бы другие не заметили — товарищей он боится больше, чем болезни. Стараясь остаться незамеченным, человек направляется в дальний конец судна. Около капитанской рубки он слышит, как далекий настойчивый голос в приемнике повторяет: «Вы меня слышите?» Этот голос переполняет человека надеждой. К нему возвращаются силы, мужество, даже бодрость. Он кричит:

— Радио! Скорее! Связь восстановлена.

Ларсен услышал. Окидывает взглядом окружающих его рыбаков. Он уверен, что снова держит их в руках; они не двинутся с места, можно уйти, ничего не опасаясь. Ларсен возвращается в рубку, хочет закрыть за собой дверь, но Франк, идущий следом, придерживает ее и тоже входит. После минутного колебания, не зная, как отнестись к поступку Франка, капитан молча под-

ходит к приемнику. Комната постепенно наполняется людьми. Теперь, когда рыбаки поняли, какая опасность нависла над ними, они имеют право знать все.

Через Лаланда и итальянского техника Ларсен начинает разговор с доктором, который спрашивает:

— Вы можете дать мне полный список медикаментов, имеющихся в вашей аптечке?

По знаку капитана один из рыбаков снимает со стены ящичек и опрокидывает его на стол. Ларсен перечисляет медикаменты. Он часто перевирает названия, но доктор поправляет его про себя. В одном месте доктор прерывает Ларсена:

— Сколько ампул?

Капитан открывает последнюю коробку, название которой только что прочел, считает:

— Двадцать ампул.

— Какой срок хранения? Это должно быть написано где-нибудь на упаковке. Посмотрите хорошенько.

Ларсен находит дату.

— Очень хорошо. Сделайте уколы всей команде.

— Вы хотели послать нам сыворотку, — говорит капитан.

— Уже отправлена.

Сыворотка действительно отправлена, она в пути и находится сейчас на французском самолете, летящем в Берлин. Но прибудет ли она вовремя? Коробка с ампулами стоит на полу, в ногах у летчика, которого зовут Эрнест. Это все, что знает Лоретта о том, кому доверила бесценный груз. Этого было бы достаточно, если бы кто-нибудь поехал в Темпельхоф и забрал посылку по прибытии самолета. Но успеют ли Корбье и Холлендорф предупредить вовремя какого-нибудь радиолюбителя? Захочет ли тот отправить эту посылку дальше? Если они этого не добьются, цепочка доброй воли, протянувшаяся уже через Африку, Неаполь, Париж и Брауншвейг, разорвется и все, что было сделано до сих пор, пропадет впустую.

4 часа 30 минут (по Гринвичу) в Брауншвейге

Дом, восстановленный американцами и отведенный под офицерский клуб, выдержан в стиле ультрамодерн и выглядит совсем новым. Необычной смелостью линий

он напоминает дома, выросшие в Германии в лучшие годы Веймарской республики. Стиль этот сильно критиковали в городе, но еще больше ругали его в кругах оккупационной армии. Долгое время Главный штаб этого района просто стыдился, что позволил себя уговорить и поручил работы архитектору — представителю нового направления — еще в тот период, когда доказанное антинацистское прошлое служило достаточной рекомендацией для получения заказа. Но вот, в один прекрасный день фотографы из «Лайфа» обнаружили здание, и все переменилось. О нем заговорили в газетах, как об образцовом вкладе американской армии в дело украшения немецких городов. В высших сферах считали признанным фактом, что клуб офицеров в Брауншвейге — подлинно выдающееся произведение архитектуры. Все американские служащие утверждали это с тем большей убежденностью, что многие из них никогда не обратили бы на него внимания, если бы им на него не указали.

В клуб Ганси пошел напрямик, минуя извилины дороги. Когда он добрался до вершины холма, на котором было построено здание, сердце стучало, дыхание стало коротким и частым. Мальчик без труда проник в парк. Вдоль фасада здания шагает часовой. При виде Ганси он хмурит брови. Это невысокого роста коренастый блондин с острым подбородком, глубоко сидящими глазами. Война прогнала этого парня, бывшего батрака на ферме, через несколько стран, но другие, новые горизонты не заслонили для него родную деревню. Все, что он узнал и увидел, скользнуло по нему, не оставив следов так же, как ни одно чужое слово не смогло удержаться в его памяти. То, чего хочет мальчишка, пытающийся сказать что-то по-английски, интересует его так же мало, как и любой поступок местных жителей. У него есть обязанность: стоять на часах. Он выполняет ее добросовестно и не позволит себя одурачить. Господ американских офицеров нельзя беспокоить. И категорическим жестом он отстраняет беспокойного мальчишку. Ганси, может быть, не так упрям, как его противник, но уж во всяком случае хитрее его. Не настаивая, он обходит вокруг дома и останавливается, заглядывая в окно.

За столиком, покрытым зеленым сукном, под огромной люстрой из богемского хрусталя, сияющей всеми своими лампами, сидят пять человек: у четырех одно желание — прекратить партию в покер, начатую в десять часов вечера; но из-за пятого игрока они не могут на это решиться. С тех пор как они сели за стол, Шарль Беллами, лейтенант авиации, не перестает проигрывать. За весь вечер он не выиграл ни разу. Он уже должен остальным свое жалование за несколько месяцев и не представляет себе, как будет выплачивать этот долг. Да и другие тоже не понимают, как он сумеет выкрутиться. Все знают, что у Шарля — коммивояжера в мирное время — нет ни гроша за душой. Бесконечная партия все продолжается, с каждым новым коном Беллами увязает все глубже и глубже. Проклятые карты! Сто раз за свои двадцать семь лет Шарль давал себе слово бросить их. Но он не может устоять. Уж если родился игроком, так останешься им до самой смерти. В десять лет Шарль уже начал играть. Но за все время ему впервые так крупно не везет. Эта неудача кажется ему гнусной несправедливостью, и он ждет какой-нибудь случайности, которая вытянула бы его из беды: хорошие карты или серия удачных ходов. В уме Шарль подсчитывает, что он может заложить и сколько денег сумеет занять. Все вместе не составит и половины проигранной суммы. Он знает, что товарищи производят те же подсчеты, что и он. Их беспокоит мысль о потере выигрыша. Они хорошие ребята, можно сказать — друзья, но ни один не отказался бы от того, что ему причитается. Жадность заглушает в них все остальные чувства. К тому же Беллами не хотел бы, чтобы ему дарили его проигрыш. Как всякий игрок, он хочет платить. Но как? Ему кажется, что он проваливается в глубокую яму, падает в пропасть. Нельзя сказать, чтобы он боялся риска — в этом острота игры. Он часто бывал близок к краху, но до сих пор ему всегда как-то везло. На этот раз он попался. Остается классический выход разорившегося игрока: дуло к виску, смерть джентльмена. Это кажется Беллами смешным и устаревшим. Он не джентльмен. Такого рода жесты принадлежат другой эпохе: это годилось для аристократа прошлого века или для последышей упадочной европейской буржуазии. Шарлю нужно что-нибудь смелое, сильное, решительное, что лучше

соответствовало бы его темпераменту. К несчастью, война окончилась. Иначе он знал бы, что ему делать: бросился бы на врага. Оставил бы там свою шкуру либо вернулся бы с золотой медалью; кстати, сколько такая золотая медаль может стоить? Он готов расхохотаться, он смеется над самим собой, над своей навязчивой идеей. Хотел бы стать старше на несколько дней, — так или иначе к тому времени вопрос будет разрешен. Как разрешен? Это он и сам хотел бы знать. Признается себе: не ожидал, что это доймет меня до такой степени. Другой Шарль — Шарль-насмешник обсуждает злоключения своего двойника. Он забавляется тем, что держит пари на количество шансов, имеющихся у первого Шарля. Десять из ста? Двадцать? Да, двадцать. Один шанс из пяти. Не так уж плохо. Хорошо бы сыграть в рулетку на таких выгодных условиях.

Ганси вспрыгнул на подоконник, стучит в стекло. Офицеры поднимают головы. Мальчик знаками просит их подойти к окну. Беллами встает, открывает окно, берет Ганси за руку. Прибежавший часовой, злой и раздосадованный тем, что дал себя провести, хочет задержать мальчика. Не знает, как оправдаться перед офицерами. Беллами прерывает его: никто не собирается обвинять его в небрежности. Пусть даст парнишке войти. Ганси спрыгивает в гостиную, растерянно смотрит на американцев: свет люстры слепит ему глаза.

Беллами кладет ему руку на плечо:

— Ну, дружище, что случилось? Почему ты так поздно на ногах?

Остальные офицеры поднялись, окружили Ганси, радуясь возможности прекратить партию.

Ганси смущен. Никак не может объясниться. Открывает рот, чтобы сказать что-то, и начинает заикаться. Протягивает Беллами записку отца. Летчик быстро пробегает ее глазами.

— О каком корабле идет речь?

— Не знаю.

— Твой отец — радиолюбитель?

Ганси спрашивает себя, разрешено быть радиолюбителем или нет. В последнее время существует столько запрещений, а люди все-таки проделывают всякие запрещенные вещи. Он не доверяет оккупантам и в своем сомнении решает ограничиться осторожным:

— Не знаю.

— Как не знаешь? У твоего отца, по-видимому, есть приемник, раз он пишет об этом.

— У него есть приемник, но я не знаю, пользуется он им или нет.

Беллами пожимает плечами. Этот ребенок — форменный идиот. Это раздражает его. Как только он увидел Ганси, ему стало ясно, что провидение послало мальчика помочь ему выбраться из затруднения. Он был прав, когда говорил, что один шанс из пяти, чтобы выпутаться, — хорошее соотношение, но игра еще не кончена. Шарик все еще катится. Надо, чтобы он попал на хороший номер.

Беллами надевает пальто:

— Я иду с ним.

Записка переходит из рук в руки. Товарищи хотят высказать свое мнение; лучше всего было бы вызвать по телефону американскую радиостанцию. Официальное радио всегда в курсе такого рода спасательных операций. Нет никакого смысла поручать кому-то забрать сыворотку по прибытии французского самолета; не известно еще, как переправить ее в Осло. Удобнее всего было бы заняться этим военному госпиталю или полиции. Во всяком случае, без вмешательства властей ничего нельзя сделать.

Беллами не согласен:

— Все это слишком долго и сложно. Тут нужно успеть к сроку.

— А один ты управишься быстрее?

— Безусловно, потому что ни у кого не буду спрашивать разрешения.

— Разрешения на что?

— Откуда я знаю? На то, что окажется необходимым. Буду действовать по наитию.

— Вздор говоришь.

— Увидим.

— Да что ты плетешь?

Они, по-видимому, не понимают, что в этот момент Беллами чувствует в себе достаточно сил, чтобы добиться успеха в любом предприятии. Никакое препятствие не помешает ему осуществить спасение рыбаков, которое ему никто не поручал; ему необходимо сделать

что-нибудь сейчас же, пуститься на любую авантюру, лишь бы она была трудной.

Им овладевает азарт игрока:

— Держу пари, что отправлю сыворотку в Осло.

— Один?

— Один.

— Что ты ставишь?

— Все, что проиграл. В расчете или вдвое с меня.

— По рукам.

— Подсчитайте пока, я не могу терять ни минуты.

Он направляется к двери, но, сделав несколько шагов, возвращается к столу. Вынимает из кармана массивные золотые часы, кладет на зеленое сукно:

— Вот залог.

Берет за руку Ганси:

— Ну, пошли.

Беллами сразу обретает уверенность в себе. Сомнений нет: он спасен. Успех зависит от смелости и сноровки. Он уже чувствует себя победителем. С порога он кричит:

— Могли бы пожелать мне чего-нибудь на дорогу!

Ругательства сыплются дождем. После стольких мучительных часов они с облегчением весело бранятся. Беллами, хохоча, увлекает за собой ошеломленного Ганси.

4 часа 40 минут (по Гринвичу) в Париже

Корбье засыпает. Голова упала на грудь. У него вид побежденного: усталость оказалась сильнее гнева. Лоретта и Мерсье чувствуют себя заговорщиками. Они-то не спят, но хранят молчание из боязни разбудить мужа. Оба переживают минуты нежной близости, о которой будут потом часто вспоминать в своих мечтах; чувство, возникшее между ними в эту ночь, не может так быстро оборваться. Жестом Лоретта показывает ему на бутылку; он понимает молчаливое предложение и наполняет оба стакана. Лоретте не хочется пить, но она с благодарностью отпивает немного. Держа в одной руке стакан, она другой гасит настольную лампу, стоящую между ней и Корбье, как будто желая охранить сон мужа. На самом деле Лоретта думает о себе: она боится, как бы усталость не подчеркнула слишком резко ее морщины, и поз-

тому предпочитает полумрак. Однако, не успев повернуть выключатель, тут же спохватывается. Ей приходит в голову, что Мерсье может истолковать этот жест как желание сохранить интимность обстановки; может подумать, что она боится, как бы не проснулся муж. Лоретта краснеет. Доктор, заметивший ее волнение, спрашивает себя, чем оно могло быть вызвано. Он хотел бы успокоить ее, но не решается спросить, что с ней. Звонок телефона отрывает их от размышлений.

Корбье внезапно просыпается.

На другом конце провода — телефонист аэропорта в Темпельхофе Вилли Штроммер. Французы пытаются разъяснить ему по-немецки, что он должен делать. Телефонист не очень-то любезен: светловолосый, розовощекий Вилли похож на девушку, но серые холодные глаза смотрят твердо и сурово. Сухим тоном Вилли заявляет, что не имеет права передавать поручения самолетам, приземляющимся в аэропорту. Если этот господин Сирне явится к нему, он возьмет сыворотку на хранение: это все, что он может сделать.

— Не будете ли вы любезны отдать сыворотку на первый самолет, отлетающий в Осло?

— Нет, сударь, на это я не уполномочен.

Поколение, непосредственно предшествовавшее тому, к которому принадлежит Вилли, предупредительно относилось к иностранцам. Это были дети поражения. Новое поколение обрело чувство национального достоинства. Вилли вообще не любит французов. Те, которые находятся по ту сторону провода, раздражают его: он не будет действовать, не имея на то соответствующего приказа. Лиц, которые могут давать ему распоряжения, здесь сейчас нет, они спят. В Германии, так же как и в Париже, руководители не работают в четыре часа утра. Они будут на своем посту в девять часов. Слишком поздно, — почему? Ах, они не могут ждать? Нет, не могут? Ну что же, тем хуже для них. Пусть выходят из положения как знают. Редко Вилли чувствовал себя таким важным, как сейчас, разговаривая сухим тоном с этими псевдопобедителями; пусть понервничают там, в Париже.

Мерсье, взбешенный, вешает трубку.

Корбье только что получил по радио сообщение от Холлендорфа. Немец передал, что ему удалось привлечь к участию в спасении корабля одного американского лей-

тенанта авиации по имени Шарль Беллами. Тот попытается сейчас же отправиться к Сирне в Берлин и обеспечить доставку сыворотки в Осло.

— Продолжай все-таки вызывать Берлин, — настаивает слепой.

— Конечно. Продолжаю.

Оба расценивают молчание берлинских радиолюбителей как личную неудачу.

Через полчаса французский самолет будет в Темпельхофе.

4 часа 50 минут (по Гринвичу)
на борту «Марии Соренсен»

В кубрике обнаженные до пояса рыбаки выстроились в ряд и ждут укола. Капитан переходит от одного к другому, держа в руке клочок ваты и шприц.

— Ерунда все эти уколы... — ворчит Франк.

Ларсен пожимает плечами:

— Не нам судить.

Матрос, первый услышавший радио, почувствовав приближение кризиса, сам пошел в барак к больным.

Закончив делать уколы, капитан собирается вернуться в рубку, но Франк останавливает его:

— Надо что-то предпринять.

— Что я, по-твоему, должен делать?

Франк орет:

— Не будем же мы сидеть здесь сложа руки и ждать, пока подохнем!

Снова нарастает возмущение. Со всех сторон поднимаются крики. Ларсен спокойно говорит:

— Жду ваших предложений.

Вперед выходит Мишель:

— У меня есть предложение: спустить на воду шлюпку. Здоровые могут покинуть судно.

— В такую погоду! Вы с ума сошли.

— Все же больше шансов спастись, чем оставаясь здесь с больными.

Остальные шумно поддерживают его:

— Раз уж нельзя от них избавиться, надо уйти самим.

— Это единственный способ спасти шкуру.

— Предпочитаю бороться с волнами, чем с болезнью.

— В сто раз лучше рисковать утонуть, чем сгнить тут.

Капитан не намерен спорить. Рыбаки так настроены, как будто обвиняют его, капитана, в том, что он препятствует им принять меры к спасению своей собственной жизни. Ларсен безразлично машет рукой:

— Делайте что хотите.

Крики внезапно стихают. Теперь, когда рыбаки одержали верх, они чувствуют себя менее уверенными. Они хотели бы, чтобы капитан взял на себя инициативу бегства с корабля. Мишель спрашивает:

— Вы даете нам разрешение?

Ларсен выпрямляется во весь рост:

— Нет. Не разрешаю. Я запрещаю. Но с некоторых пор я вижу, что уже не хозяин у себя на судне, поэтому я и говорю: делайте что хотите. Идите на самоубийство из страха умереть.

— Вы не поедете с нами?

— Конечно, нет.

— Из-за... Олафа?

— Не ваше дело.

Возможно, если бы Олаф был здоров и хотел во что бы то ни стало уйти с судна, Ларсен последовал бы за ним, зная, что поступает неосмотрительно. Он не подозревал до сих пор, что так любит сына.

Ему не терпится поскорее отделаться от этих одержимых, подняться в барак. Он-то не боится заразы.

— Почему вы приказали застопорить машины? — спрашивает Франк так тихо, словно говорит сам с собой.

— Потому, что дал наши координаты парижскому доктору. Нам сбросят сыворотку на парашюте.

— Когда она прибудет?

— Не знаю. Если у вас нет терпения ждать, бегите.

— Не так просто доставить сюда лекарство из Парижа.

— Хоть бы поскорее его отправили!

Мишель кричит:

— Какое им до этого дело! Они-то небось не заразятся. Им спешить некуда. А мы пока что можем сдохнуть!

— Не думай, что ты меня убедишь своим криком, — отвечает капитан. — Уверен, что они делают все возможное, чтобы помочь нам. Удастся ли им, это другое дело.

Добравшись до аэропорта, Беллами встречает товарища, возвратившегося из ночного полета. Старается убедить его лететь с ним дальше в Берлин. Тот колеблется. Беллами настаивает: дело касается очень важного поручения. Товарищ хотел бы видеть приказ. Так как Беллами не может предъявить его, летчик не соглашается. Он не может так рисковать: «Разбуди кого-нибудь из начальства, тогда охотно полечу». Но Беллами не желает будить начальство. Его объяснение было бы слишком длинным и путаным. Он не уверен, что этот разговор кончился бы для него успешно. И уж во всяком случае прибыл бы с опозданием к месту назначения. Сейчас каждая минута на счету. Оставив опешившего коллегу, Беллами бежит к ангару, куда только что поставили приземлившийся истребитель.

— Выводите машину, — приказывает он механикам.— Я должен немедленно вылететь.

Они удивлены, но выполняют приказ.

Товарищ издали наблюдает за Беллами. Он сомневается, имеет ли право разрешить Беллами лететь на его самолете. После недолгих колебаний говорит себе, что, если бы не случайная встреча с Беллами, он ничего не узнал бы о его намерении. Беллами показался ему очень возбужденным, момент для спора с ним явно неподходящий; к тому же спорить все равно бесполезно. Сейчас пять часов утра. Он устал и хочет спать. Решительно направляется к выходу. Механики выкатывают машину на дорожку.

— Горючего достаточно? — спрашивает Беллами.

— Надо еще подзаправиться.

Офицер смотрит на часы, механики заправляют машину. Беллами достает из кармана сигарету, хочет закурить, но, вспомнив, что у самолета курить опасно, опускает зажигалку обратно в карман. Прогуливается взад и вперед с незажженной сигаретой в зубах. Он должен выиграть. Теперь уже его судьба зависит не от случая, а от него самого. Трудно было ожидать большей удачи, чем чудесное появление этого парнишки с поручением, которое точно с неба к нему свалилось. Во что бы то ни стало надо выиграть пари. Больше он играть не будет, кончено. Беллами один раз уже торжественно обещал

своей матери не дотрагиваться до карт. Бедная старушка отдала ему тогда все свои сбережения, чтобы он мог заплатить карточный долг. Шарлю посчастливилось очень быстро вернуть деньги матери.

У него была хорошая профессия. Без устали колесил он на своей машине по всем дорогам Америки, делая сотни и тысячи километров. Временами Беллами начинало казаться, что он сыт по горло ездой. Но стоило ему только подумать, что он так и не стал канцелярской крысой, как хорошее настроение немедленно возвращалось к нему и, сидя за рулем своей машины, он во все горло распевал одну из тех задорных мальчишеских песен, которым выучился еще в детстве. Такие прогулки наводят на размышления. Не то чтобы Беллами обладал поэтической натурой или особенно любил природу, — просто ему интересно было следить, как мелькали мимо деревья, растения, животные. В конце концов он стал даже, немного разбираться в ботанике и зоологии. Кроме того, бывают интересные встречи. Время от времени Беллами подбирал какого-нибудь пассажира, голосовавшего на дороге. Однажды такой пассажир оказался гангстером и пытался напасть на него. Беллами оглушил его ударом по голове и доставил к шерифу ближайшего города, в другой раз ему повстречался странный венгерский или чешский эмигрант, который говорил по-латыни и выдавал себя за депутата в своей стране. Тут были и французский журналист, хотевший собрать материал об американской жизни, не зная ни слова по-английски; и десятилетний парнишка, сбежавший из дома, чтобы стать моряком; и фокусник, обучивший Беллами лучшим своим трюкам; и, конечно, женщины, правда менее многочисленные, так как для них автомобили всегда останавливаются.

Женщины почти все соглашались на остановку в гостинице. Они знали, что за оказанную услугу надо платить. Но некоторые делали это неохотно. Это обижало Беллами: не воображая себя Казановой, он все-таки ожидал от своих случайных пассажирок немного больше любезности и хорошего воспитания. Да, именно воспитания им больше всего не хватало. С другой стороны, чего можно было ждать от молодых женщин, не имеющих даже средств для путешествия в нормальных условиях? Правда, были и исключения как в ту, так и в другую сто-

рону. Например, Дорис — белокурая кельнерша, в которую он был почти влюблен в течение трех дней. Или эта учительница с севера, боявшаяся, как бы он не дотронулся до нее, и угрожавшая ему адским пеклом. Все эти воспоминания вызывают улыбку на губах Беллами. На самом деле женщины никогда не играли большой роли в его жизни. Страсть к картам в нем сильнее всего. Мать говорит ему иногда, что надо жениться, тогда он бросит играть, но он отвечает, что с большим удовольствием останется жить с ней; и старушка довольна.

Механик знаком показывает, что все готово, и Беллами поднимается в кабину самолета.

5 часов 10 минут (по Гринвичу) в Берлине

В Темпельхофе Сирне не нашел радиолюбителя, который должен был прийти за сывороткой. Он обратился в камеру хранения, в бюро санитарного контроля, в полицию, в таможню. Никто не слышал о посылке. Бюро Эр Франс закрыто до десяти часов утра. Раньше полудня нет ни одного вылета. Летчик не может забыть умоляющего лица молодой женщины в Орли. Она казалась искренне взволнованной, уверяла, что лекарство будет взято в Берлине связным, который переправит его в Осло. Ему не хотелось бы обмануть доверие незнакомки. Но что он может еще сделать? Для очистки совести поднимается в кабину телефонистов. Случай сыграл с ним злую шутку — человек, разговаривавший с Корбье, только что спустился вниз; его товарищ уверяет, что не слышал ни о каком поручении относительно медикаментов. Удрученный Сирне спускается обратно в холл. Проходит мимо бара, где телефонист играет в кости, заходит в комнату, отведенную для летного состава: его товарищи заканчивают свой завтрак, дожидаясь автобуса, который отвезет их в город.

— Ну что? — спрашивает Кармон. — Тебя надули?

Сирне пожимает плечами. Ничто так не раздражает его, как насмешки, он буквально не выносит их. Однако жизнь в коллективе научила его не подавать виду, что он раздосадован, — лучшее средство избавиться от насмешников. Шуточки сыплются дождем: летчики устали, а зубоскальство помогает прогнать сонливость. Молодая

блондинка, остановившая Сирне, была довольно красива; они ревнуют ее к товарищу. Их не огорчает неудача Сирне, успеху которого они завидовали. Остается узнать, кто эта мистификаторша, чего она хотела и что же на самом деле находится в пакете.

Контрабанда? Наркотики? Секретные документы?

Эрнест не решается вскрыть упаковку.

— Всякий может достать упаковочную бумагу института Пастера — это внушает доверие простофилям, — издевается Кармон.

— А ты разве не взял бы пакет, если бы она дала его тебе?

— Я по крайней мере посмотрел бы, что в нем.

Стоит ли колебаться? Раз никто не пришел за посылкой, Эрнест имеет право вскрыть ее. Чтобы рассеять последние сомнения, он говорит себе, что, возможно, найдет внутри какие-нибудь указания, которые позволят вручить посылку адресату.

В распакованной посылке лежат несколько пузырьков, с которых соскоблены этикетки.

— Теперь мы знаем не больше, чем раньше, — говорит кто-то.

— Надо сдать на анализ, — предлагает другой.

— А если ты просто отнесешь посылку в полицию? — советует стюард.

— Нет, нет! — восклицает Кармон. — В этом случае Сирне придется объяснить, почему он провез пакет контрабандой. Таможенники не ценят галантность.

Но Сирне не слушает их; бросив быстрый взгляд на визитную карточку, которую в этот момент подает ему служитель, он радостно вскрикивает:

— Дора?

Через открытую дверь очаровательная молодая брюнетка делает ему дружеские знаки. Взгляды всех присутствующих тотчас обращаются к ней.

Сирне весело прощается:

— Привет!

Идет к двери, но Кармон останавливает его, показывая на распакованную коробку:

— Ты забыл свою сыворотку.

Сирне легкомысленно отвечает:

— Я оставлю ее здесь. Может быть, кто-нибудь придет за ней.

Однако Кармон не отпускает его:

— Если кто-нибудь и придет, то он будет спрашивать именно тебя. Что же мы будем с ней делать? Мы ведь не можем оставить ее на столе. Ты взял на себя ответственность, так не бросай дело на полдороге.

Летчики хитро перемигиваются. Сыворотка их не интересует, но они довольны, что Кармон нашел способ задержать товарища. Красивая девушка подождет. Сирне торопливо, кое-как запаковывает сыворотку.

— Подожди, я помогу тебе, — предлагает Кармон.

Но ясно, что Кармон нарочно затягивает дело. Сирне теряет терпение, вырывает посылку из рук Кармона, прячет к себе в портфель.

— Принесу ее обратно завтра утром, — объявляет он уходя.

— Не опаздывай, — кричит ему вдогонку капитан.

— Будь спокоен, я никогда не опаздываю.

Он скрывается за дверью.

— Кто эта Дора? — спрашивает стюард.

— Немецкая курочка, — небрежно отвечает Кармон.

— Красивая, — вздыхает капитан.

5 часов 15 минут (по Гринвичу) в Титюи

Сон одолевает людей. Но они не могут спать.

В полудремоте Дорзит думает об урожае: будь он посмелее, у него было бы гораздо больше хлопка. Он хорошо зарабатывает, это бесспорно. Но не богатеет. Грошовые сбережения. А годы уходят. Дорзит чувствует себя еще очень крепким, но придет день, когда надо будет сворачиваться, возвращаться в Европу. Уже много лет он думает только о том, как бы обеспечить себе спокойную старость, отдохнуть. По мере того как старость приближается, его все больше охватывает беспокойство. Прежде всего, куда он поедет? Долгое время он думал о своей родной деревне в Кальвадосе: плоская равнина, зима сырая и холодная. Хватит с него солнца, жары и негров, говорил он. Но вот два года назад он ездил во Францию отдыхать и провел месяц в родных местах. Оказалось, что у него нет больше никакой охоты жить там. Он не понимал местных жителей, и его никто теперь не понимал. Племянница, которой он хотел

завещать наследство, показалась ему безобразной и корыстолюбивой, брат — жадный крестьянин. Когда он рассказывал им о своей жизни в джунглях, об охоте, наводнениях, скитаниях по девственным лесам, они смотрели на него ошеломленно и несколько пренебрежительно. Они гордились тем, что оставались среди белых, считали себя выше и цивилизованнее. В Дорзите вновь заговорили все побуждения, толкнувшие его на первый отъезд в Африку: жажда приключений, желание жить и дышать свободно, отвращение к мелочной ограниченности. Издалека, овеянная воспоминаниями, маленькая родная деревня окрашивалась в поэтические тона; вблизи все было более мелким, незначительным, обыденным, чем тогда, когда он уехал в первый раз. Дорзит не знал теперь, где ему обосноваться: Лазурный Берег? Париж? Он часто говорил об этом с другими плантаторами. Как и все, заявлял: не хочу подыхать в этой мерзкой стране. Но он знал, что именно тут и подохнет и что в сущности так и должно быть. Отправиться в Африку, долгие годы бороться, в надежде обрести потом покой, и вдруг понять, что это «потом» никогда не наступит и что покой, о котором ты так часто мечтал, тебе не нужен, — все это по меньшей мере глупо, надо признаться.

Ван Рильст неразговорчив. Он пьет молча, с каким-то остервенением, разжимая зубы только при очередном глотке спирта. Его думы не интересуют других, он понял это уже давно. Его преследует одна мысль: Ван Рильст боится смерти. Когда он в последний раз был у врача, тот покачал головой — дело идет все хуже. Ван Рильст это знал, он чувствовал, как болезнь развивалась, пожирала его. «Почему вы не бросаете пить?» — спрашивал местный лекарь. Почему он пьет? Лекарю следовало вспомнить, что он сам сказал ему при первом осмотре: он приговорен, в лучшем случае ему не протянуть и трех лет. Разве мужчина, которому известно такое, может не пить? Да тут и непьющий станет пьяницей. Другое дело, если бы, бросив пить, он мог выздороветь, но ему уже ничего не поможет, доктор сам подтвердил это. Может быть, он сумеет оттянуть неизбежный конец на месяц, два, не больше. «Вы мужчина, — сказал ему доктор, — и не имеет смысла рассказывать вам небылицы». Напротив, Ван Рильст как раз предпочел бы небылицы, пусть хоть последние месяцы он прожил бы спокойно, в неведении. Конечно, он мужчина, но что ж из этого? Разве мужчине

не мучительно умирать? Он одинок, близких нет, никто о нем не пожалеет. Плохое утешение: ему кажется, что, если бы он оставил кого-нибудь, легче было бы умирать, не было бы этого гнетущего чувства, что ты зря трудился, зря прожил жизнь. Кому он оставит свои сбережения? Даже думать об этом не стоит. К чему оставлять завещание, когда никого не любишь. Да и в конце концов какое ему дело, что будет после его смерти.

Этьен в эту минуту ненавидит радио. Он ненавидит Дорзита, Ван Рильста, Лаланда, всех этих чужих ему людей, склонившихся над радиоприемником, ведущих разговор со всеми четырьмя странами света. Он ненавидит рыбаков, врача, он сам себе ненавистен. У него должен родиться ребенок, а он торчит здесь. Какое безумие завело его сюда? Этьену приходят на ум слова колдуна: во всех выдумках белых заключены бесовские силы. Они выходят наружу и поражают всякого, кто прикасается к ним. Он смеялся над этими суевериями, всегда поступал как цивилизованный человек. Был ли он прав? В самом деле, разве он цивилизованный? Мир белых — не его мир. Он чужой среди них. С ним обращаются, как с низшим существом. И он мирится с этим, словно чернота кожи — его прирожденный порок. Этьен — верующий христианин, но в глубине души не верит в равенство людей, которое проповедует евангелие. Ему всегда казалось, что это скорее уступка со стороны белых, которую не следует принимать всерьез. Ради них он отказался от обычаев и веры своих предков. Он отдалился от своих, но и не был допущен к тем. Возможно, только его поколение занимает такую промежуточную позицию и для его ребенка все будет иначе? Этьен не строит иллюзий на этот счет. Ребенок тоже будет чернокожим. Ему нельзя будет играть с детьми европейцев, его будут гнать прочь. В первый раз сомнение закрадывается в душу Этьена. До сих пор он глубоко верил в то, что проповедовал отец Гросс. Может быть, отец Гросс обладал силой прогонять злых духов, которые сейчас, после его смерти, снова пошли на приступ. Но Этьен с презрением отбрасывает эти мысли: еще один глупый негритянский предрассудок...

Телефонный звонок. Лаланд снимает трубку. Полицейский бригадир из Зобры сообщает:

— Имею честь доложить, что жена Луазо благополучно разрешилась девочкой.

Этьен разражается смехом. Это не нервический смех, не истерика: просто проявление радости, переполняющей все его существо, безграничной, бурной, неуемной радости, которой постепенно заражаются все присутствующие.

Дорзит крепко хлопает Луазо по спине:

— Молодчина, еще одной черномазенькой больше! Ее-то как раз и не хватало.

Ван Рильст вытаскивает из кармана бутылку, торжественно произносит:

— Это надо обмыть.

Бутылка переходит из рук в руки. Пьют прямо из горлышка. Лаланд, который пьет после негра, тщательно вытирает края.

— Надо передать эту новость нашим приятелям, — предлагает Дорзит.

— Вы думаете? — спрашивает Лаланд.

В общем, это предложение ему нравится. Долгое совместное ожидание у радиоприемников установило определенную солидарность между радиолюбителями.

5 часов 17 минут (по Гринвичу) в Неаполе

Полученное сообщение вызывает улыбку на лицах присутствующих.

— Маленькая негритяночка, — восклицает Кармела, — должно быть, она такая миленькая!

— Кожа у негров мягче нашей, — с серьезным видом замечает бригадир, — у женщин особенно.

Все соглашаются. Ипполито припоминает войну в Абиссинии. В это время он был фашистом. Несмотря на это, ненависти к врагу у него не было. Он был согласен с тем, что надо вести войну с этими беднягами, даже убивать их, если это необходимо для создания итальянской колониальной империи, но за что было их ненавидеть? Несчастные туземцы были совсем беззащитны: нападали с копьями, луками, стрелами на солдат, вооруженных по последнему слову техники, на конях бросались в атаку на танки, не принимали никаких мер защиты против бомбежки с воздуха.

Ипполито с товарищами усыновил бы кое-кого из черномазых ребятишек, если бы капитан резко не призвал

их к порядку: вы белые, лучшие из белых, потомки римлян, и вы согласны дать ваше имя существам низшей расы! Неграм можно оказывать покровительство, обращаться гуманно, но оставьте их там, где они есть, не становитесь на равную ногу с ними.

Один из солдат, злой на язык, заметил, когда они вышли от командира, что капитан не был таким несговорчивым, когда дело касалось негритянок. Он не брезговал их посещениями. Но, верный своим убеждениям, он не обращался с ними, как с равными. Менял через каждые три дня и все искал помоложе. Едва ли бы он посмел вести себя так с белыми женщинами.

— Сообщу-ка я о рождении девчонки в Париж, — объявляет полицейский техник, обрадованный тем, что нашлось наконец дело, которым можно заняться.

5 часов 20 минут (по Гринвичу) в Париже

Сообщение о рождении ребенка несколько разрядило напряжение, царившее в Париже, в доме на Марсовом поле. Слабая улыбка промелькнула на лицах присутствующих. Но все трое продолжают молчать. Каждый остается наедине со своими мыслями. Достаточно малейшей искры, чтобы произошел взрыв. Они ждут этого момента, надеются на него — только тогда может наступить развязка. Каждый из них стремится скорее открыть свои карты, высказаться наконец.

Новость о рождении ребенка не прерывает течения их мыслей, направляет по иному руслу.

Ребенок... Если бы у Корбье с Лореттой был ребенок, были бы они счастливы? Слепой взвешивает в одну минуту все за и против: если он станет отцом, его это развлечет, ребенок поможет заполнить время, а главное, Корбье не станет больше опасаться ухода Лоретты.

Связанная обязанностями матери семейства, она не сумеет разорвать двойные путы: сын и муж. Вот положительная сторона. Отрицательные доводы более веские. Ответственность за появление на свет ребенка всегда казалась слишком тяжелой для Корбье, даже когда он был здоров. У самых мужественных людей бывают свои слабости. Мучительно думать, как могут сложиться у него отношения с ребенком, который будет знать отца только

как человека неполноценного; а горечь от сознания, что он никогда не увидит рожденное от него существо! Есть еще одна причина, самая веская и самая позорная, в которой он с трудом признается даже себе. Корбье не допускает мысли, что в жизнь Лоретты войдет кто-то еще, помимо него, будь это даже его собственный сын. Он боится потерять какую-то частицу любви своей жены, знает, что не перенесет этого.

У Лоретты тоже мелькнула мысль о ребенке, который мог бы родиться у них с Корбье. Но, тотчас же отбросив эту мысль, она подумала о ребенке от Мерсье. Почему именно от него? Он не так красив, как ее муж.

Лоретта поздравляет себя с тем, что сохранила ясность мыслей и объективность суждений: это доказывает, что она не так сильно влюблена, как это ей показалось. Она хотела бы иметь ребенка для себя самой. Мужчина был бы простым орудием. Почему в этом случае не пожелать сына от своего мужа? Лоретта с тоской отмечает, что мысль о возможности физической близости с мужем кажется ей чудовищной. Как могла она выносить эту близость до сих пор? «Господи, господи, — молит Лоретта, — только бы это все кончилось! Только бы все снова было, как раньше! Иначе я с ума сойду». Но смятение, овладевшее ею в течение нескольких секунд, улеглось. Глубокое спокойствие, умиротворение снизошло на Лоретту. Она видит себя со стороны, как видят постороннего человека. Ей все ясно, и она спрашивает себя: каким образом ей легче преодолеть этот кризис, который, несомненно, был вызван появлением Мерсье? Никогда больше не встречаться или наоборот — сблизиться с ним? Лоретта склоняется в сторону второго решения.

Но тогда встает вопрос: объективна ли она, или, может быть, она только ищет предлога оправдать свои желания. Лоретта решает, что она объективна. Да и не все ли ей равно в сущности — она хорошо знает, чем это кончится.

5 часов 21 минута (по Гринвичу)
в Брауншвейге

Корбье сообщил Холлендорфу о рождении ребенка.

— Девочка лучше, чем мальчик, — сказал немец. — Девочек по крайней мере на войну не берут.

Он встает, смотрит на сына. Ганси спит в кресле, свернувшись калачиком, — привычка, которая появилась у него совсем недавно. Холлендорф заметил, что он стал часто улыбаться во сне. Бедный мальчик! Нагоняет упущенное. Жизнь его не балует, наяву он не улыбается так часто, как во сне. На долю его отца выпало больше радости. Холлендорф удивляется, почему всякий раз, как он вспоминает о своем детстве, в памяти всплывают одни и те же картины: вот он с отцом, матерью и братьями сидит в большой дядюшкиной машине. Они отправляются в Баварские Альпы. Холлендорф видит домик среди сосен, озеро, где так приятно выкупаться; кругом заснеженные горные вершины, куда можно взобраться только на канатах. Впрочем, нет, восхождение на канатах было гораздо позже, когда он уже был студентом. Собиралась большая компания, были и девушки. Гудрун, рослая, крепкая, заигрывала с ним. Он поддерживал эту игру, хоть Гудрун вовсе и не нравилась ему; но она распустила слух, что он робкий, застенчивый. Ложное мнение: когда он познакомился с Маргой, своей будущей женой, он доказал, что может быть предприимчивым, даже дерзким. Марга была маленькая, худенькая женщина, изящная и остроумная.

Вздыхая, Холлендорф возвращается к столу, садится у приемника, начинает вызывать Берлин:

— Алло, Берлин, всем, всем, всем, говорит Брауншвейг... Перехожу на прием.

Спокойный голос отвечает:

— Говорите, Брауншвейг. Я вас слушаю.

Холлендорф рассказывает о судне, которое терпит бедствие, об эпидемии, о сыворотке, отправленной рыбакам. Француз Сирне, прибывший в Берлин, не нашел никого на аэродроме. Американец Беллами должен был взять на борт медикаменты и доставить их в Осло, но вылетел слишком поздно.

Холлендорф прерывает сообщение:

— Вы меня слышите?

— Очень хорошо. Продолжайте.

Когда рассказ окончен, Холлендорф спрашивает:

— Вы можете чем-нибудь помочь?

— Может быть.

— Кто вы?

У Холлендорфа создается впечатление, что, хотя его неоднократно повторенный вопрос услышан собеседником, тот не имеет намерения отвечать ему.

Таинственный связной исчез. И снова призывы Холлендорфа падают в бездонную пропасть молчания.

5 часов 23 минуты (по Гринвичу) в Берлине

Призыв был пойман радиостанцией особого назначения Советской Армии в Берлине. Помещение обставлено просто, без претензии. На стене портреты советских руководителей. Русский офицер, сидящий у радиоприемника, быстро набрасывает несколько строк на листке бумаги.

Вызывает дежурного, передает ему пакет:

— Начальнику базы.

Солдат отдает честь и выходит. Офицер в раздумье вертит карандаш в руках, потом машинально что-то чертит. Рисует он плохо, набросок по-детски наивен: корабль, вокруг которого расходятся неровные круги — волны, над ними самолет, который доставляет сыворотку.

В дверях появляется солдат.

— Товарищ лейтенант. — Офицер от неожиданности вздрагивает. — Разрешите передать пакет связному самокатчику, или можно подождать до завтра?

— Отправить немедленно.

Рука офицера тянется к бумаге с рисунком, мнет ее, скатывает в комок. Он отсылает вестового, резко выговаривая:

— В следующий раз, прежде чем войти, постучите.

5 часов 30 минут (по Гринвичу) в Берлине. Темпельхоф

Самолет Беллами опустился на военном аэродроме. Оформление прибытия отняло у летчика несколько драгоценных минут. Беллами со всех ног бежит к залу ожидания пассажиров. Прежде всего бросается в контору Эр Франс. Контора закрыта. Но на аэродроме все коечто уже слышали об этой истории с медикаментами. Французский летчик стучал во все двери, надеясь найти адресата. Но он никого не нашел, никто не хотел связы-

ваться с этим пакетом. Беллами в ярости. Сборище идиотов! Когда он наталкивается наконец на телефониста, который припоминает о телефонном звонке из Парижа, Беллами не выдерживает. Разве тот не мог предупредить товарища, прежде чем спуститься в бар? Как, ему доверяют важное сообщение, а он даже не потрудился передать об этом ни начальнику аэродрома, ни санслужбе, ни экипажу самолета, о прибытии которого его поставили в известность. Молодой заносчивый телефонист, еще совсем недавно с таким удовольствием резко отвечавший анонимным парижским собеседникам, не смеет открыть рта под обрушившимся на него шквалом упреков. Только залившееся краской лицо и шея выдают его волнение. Униженным он себя не чувствует; ошибся, извиняется за промах. В сердце у него закипает ненависть, глухая злоба. В общем, все оккупанты хороши, вполне стоят один другого. Он вспоминает разрушенные дома, улицы, объятые пламенем, насилия над женщинами, разбитую мебель, украденные меха. Когда-нибудь наступит день расплаты: придет час, когда захватчикам заплатят за все и этот тоже получит по заслугам — пинок в живот.

Немец заранее смакует радость мести. Вот почему он улыбается в то время, как Беллами продолжает свирепствовать.

Какой-то служащий подходит к летчику. У него в руках список, он отыскал фамилию и адрес Сирне. Француз остановился в отеле «У зоопарка». Беллами на ходу вскакивает в такси.

5 часов 35 минут (по Гринвичу)
на борту «Марии Соренсен»

Люди на палубе уселись в кружок, говорят шепотом, как заговорщики. Это и в самом деле нечто вроде заговора. Главари его — Мишель и Франк. Решение принято. На рассвете они все покинут судно. Шлюпка наготове. В нее грузят весь запас продовольствия, что есть на борту, багаж, пресную воду и спиртные напитки.

— Паек буду выдавать я сам, — решает Франк.

Только старый Петер все еще колеблется:

— Уйти с корабля в открытом море — это дезертирство.

— Нам же лучше, если ты останешься, — говорит Мишель. — Какой от тебя толк, от старика!

— При чем тут возраст, — возражает Петер с досадой. — Я знаю море лучше вас всех, потому что плаваю давно. Вот я и говорю, какие есть обычаи.

— Обычаи, говоришь? А чума — это тоже обычай? А радио не работает и судно вдруг ночью остановилось — это тоже такие обычаи?

— Я только говорю, что, раньше чем дисциплину нарушать да рисковать, что тебя потянут в трибунал, надо поразмыслить.

— Что до меня, то я уже достаточно размышлял. Да и ребята тоже.

Петеру хотелось бы еще поспорить, но Франк, подойдя к нему, размахивает гигантскими кулачищами:

— Ну, вот что. Останешься здесь. Тебя не возьмут, даже если начнешь приставать. Точка. Смотри, только не подбивай других. Не то пожалеешь. Ясно?

— Я ничего, — бормочет напуганный старик. — Ты ведь знаешь, что надо делать, да и Мишель знает. Вы оба правы. Я ничего. Просто думал вслух. Только и всего.

Мишель, вне себя от его нескончаемой болтовни, рычит:

— Заткнись!

— Ладно... заткнусь... — повторяет Петер, прикрывая рот рукой. — Твоя правда, я всегда много говорю.

И он уходит, еле волоча ноги.

Окрик Мишеля заставил всех невольно повернуться в сторону барака. Надо полагать, капитан ничего не слышал. Ларсен стоит в темной душной каморке; лежащие там больные приподнялись на тюфяках. Они цепляются за капитана, он их последняя надежда. Юнга всхлипывает.

— Ничего, ничего, дружок, крепись, будь мужчиной.

Мальчик с усилием сдерживает слезы. Но он не может унять дрожь, его трясет озноб, зубы стучат.

Только один Олаф лежит спокойно. Он видит, что отец подходит к нему, но в его неподвижном взгляде ничего не отражается.

Отец наклоняется над ним, проводит рукой по его волосам, слипшимся на висках от пота. Ларсен не смеет

позволить себе другой ласки. Олаф, кажется, даже не заметил его робкого жеста.

— Связь налажена. Сыворотка в пути.

Капитан говорит это только для того, чтобы нарушить тягостное молчание, вовлечь Олафа в разговор. Олафу не хочется замечать усилий отца; не стоит ему отвечать, лучше продолжать разыгрывать полное безразличие. Но у него не хватает сил. Желание успокоить себя, обрести надежду на спасение подавляет все остальные чувства, даже неприязнь к отцу. Срывающийся голос выдает его волнение.

— Когда доставят сыворотку?

Вопрос, который мучительно задает себе каждый на борту корабля.

При виде его юношеского лица, истомленного тревогой и ожиданием, у отца пропадает уверенность, он мнется, смущенный и взволнованный. Ларсену хотелось бы внушить сыну надежду на спасение, он подыскивает нужные для успокоения слова; но их нет, а лгать он не может. И тихо говорит:

— Скоро, очень скоро, я надеюсь.

Глупый ответ: он готов сам себе плюнуть в лицо. Конечно, ты надеешься, болван. Все надеются, что сыворотка скоро прибудет. Ларсену хочется сказать сыну совсем о другом: он сделал бы все, чтобы спасти Олафа, с радостью заболел бы вместо него. Но, может быть, сын и без слов поймет, что хотел сказать отец.

Олаф продолжает дрогнувшим голосом:

— Ты позаботься о Кристине, когда я...

Он так и не кончил фразы: когда я умру, — не может произнести это жестокое слово. Волна страха наполняет его душу, парализует волю; рыдания подступают к горлу. Напрасно старается Олаф подавить слезы и, пристыженный, отворачивается к стене.

Никогда раньше сын не был так дорог Ларсену. Он берет его на руки, слегка покачивает, как делал в ту пору, когда Олаф был еще маленьким. Наконец ему удалось сломать твердую скорлупу, отделявшую его от других, он может излить душу; его уже ничто не смущает.

— Ничего с тобой не случится. Ты поправишься. Мы вместе вернемся домой. И мать приготовит яблочный пирог, тот, который она всегда печет к твоему возвраще-

нию. Не любил я его раньше, но, видя, как он тебе нравится, тоже полюбил. Никогда не говорил тебе ничего такого, и мать про это ничего не знает. Видишь, в каких глупостях я тебе признаюсь.

— А Кристина?

— Все будет по-твоему. Я пойду к родителям просить ее руки.

Ларсен убежден в эту минуту, что он и мечтать не мог о лучшей невестке, чем та, которую выбрал себе сын.

И Олаф тоже не чувствует больше неприязни к отцу.

— Смотри не заразись, — говорит он.

Ларсен радостно смеется: в первый раз мальчик подумал о нем.

— Вот еще выдумал. У тебя ведь ничего нет. Ты скоро встанешь на ноги. Увидишь, обещаю тебе.

Ларсен искренне уверен, что может помешать болезни причинить зло своему сыну. Он вновь обрел Олафа — это придает ему неограниченную веру в собственные силы, в хорошее, светлое будущее.

5 часов 50 минут (по Гринвичу) в Берлине

Курфюрстендам. По пустынной широкой улице катит такси. Среди темных витрин резким пятном выделяется освещенное окно еще незакрытого бара. Две девушки с папиросами во рту прохаживаются по тротуару; в свете фонаря какой-то прохожий читает письмо. Полицейский подозрительно оглядывает его. Мимо бара проезжают два грузовика с первыми овощами сезона, автофургон для перевозки мебели, снуют мелкие торговцы, разносчики газет. К остановке метро идут первые заспанные пассажиры, несколько женщин.

Такси останавливается возле отеля «У зоопарка». Из машины выскакивает Беллами.

— Ждите меня здесь.

В пустом зале ночной сторож дремлет в кресле, положив ноги на стул, около него на полу стоит поднос с бутылками. При появлении Беллами он быстро вскакивает.

— Номер господина Сирне? — спрашивает американец.

Консьерж идет к своему столику, роется в регистрационных карточках. Беллами, сгорая от нетерпения,

смотрит на стенные часы: по его мнению, стрелки движутся слишком быстро. А этот тупица никак не может отыскать фамилию в списке... Наконец нашел:

— Господин Сирне — номер восемьдесят семь дробь восемьдесят девять.

— Какой этаж?

— Второй.

Беллами бросается к лифту. Лифтера нет. Решительным шагом американец идет к лестнице, взбегает вверх по ступенькам. Немец окликает его: он хотел бы предупредить господина Сирне о визите. Американец пожимает плечами, не удостаивая его ответом, и продолжает подниматься по лестнице. Сторож снова садится в кресло, вздыхает: только бы не было неприятностей. Попробуй-ка спорить с офицером союзных войск, да еще в военной форме!

Беллами громко стучит в дверь номера восемьдесят семь дробь восемьдесят девять. Молодой человек в пижаме открывает дверь: это Кармон, приятель Сирне.

Американец довольно долго объясняет причину своего раннего визита, но Кармон никак не может сообразить в чем дело. По совету Беллами Кармон идет в ванную, ополаскивает лицо холодной водой; теперь он уже в состоянии отвечать на вопросы Беллами. Сирне отправился к своей любовнице, которая пришла за ним на аэродром. К несчастью, он взял с собой ампулы с сывороткой.

— У вас есть адрес этой женщины?

— Ее зовут Дора. Дора Керн, живет на Лейпцигштрассе, сто двадцать шесть.

— Благодарю вас.

Беллами буквально скатывается вниз, вихрем проносится по залу, садится в такси, ждущее его у дверей, быстро, не переводя дух, сообщает адрес шоферу. Тот смотрит на него с удивлением.

— Чего вы ждете? Поехали.

— Вы знаете, где Лейпцигштрассе? Это восточная зона.

Беллами минуту колеблется, затем приказывает:

— Все равно. Везите туда.

— Вы поедете туда в военной форме? — спрашивает ошеломленный шофер.

Об этом Беллами не подумал. Американский офицер, застигнутый ночью, в полной форме, в восточном секторе! Налицо все шансы оказаться в полицейском участке. Но медлить нельзя ни минуты; Беллами невольно смотрит на часы — сколько времени уже пропало!

— Подождите меня секунду.

В зале консьерж заканчивает свой завтрак. Высоко подымает брови при виде снова проносящегося мимо него американского офицера. Беллами, шагая через несколько ступенек, поднимается по лестнице, подходит к двери Кармона, стучит. Француз немедленно открывает: он еще не успел заснуть. Читал.

— Дайте мне ваш штатский костюм. Скорее. Лейпцигштрассе — это восточный сектор.

Кармон жалеет, что посмеялся над Сирне; теперь он охотно помог бы товарищу доставить сыворотку. Американец едва сдерживает нетерпение.

— Быстрей! Нельзя терять ни минуты.

Костюм Кармона не подходит Беллами. К счастью, Кармон находит вещи Сирне — серые брюки, спортивную куртку. Пока американец одевается, Кармон решает:

— Я еду с вами. Могу пригодиться.

— Как угодно, только торопитесь. Ждать вас я не намерен.

Высокомерный тон задевает француза; он молчит. Через несколько секунд он уже одет. Оба спускаются с лестницы и бросаются в такси.

В машине в первый раз оглядывают друг друга. Кармон достает пачку сигарет, предлагает Беллами.

— Нет, спасибо.

— Не курите?

Кармон закуривает.

— Вы надеетесь сейчас же отправить сыворотку в Осло?

— Откуда я могу знать?

— Как глупо, что вас вовремя не предупредили. Сирне ждал вас на аэродроме.

Беллами смотрит в окно машины. Он не знает Берлина. С тех пор как он находится в Брауншвейге, у него неоднократно была возможность побывать здесь, но он не любит ездить. Всякая езда для Беллами — это работа. Только подобное приключение могло заставить

его сдвинуться с места. К тому же что интересного в Берлине? Все города мира похожи друг на друга своим однообразием. Может быть, в Берлине больше развалин, но и здесь, как и всюду, — серые фасады домов вдоль улиц, по которым движется серая безликая толпа.

Такси въезжает на широкую улицу; ни одного уцелевшего дома. Странной формы огромные площади — результат бомбежки. Широко раскинувшиеся сады на месте разрушенных зданий создают в центре города неожиданный простор. Внезапно со стен домов исчезают рекламы, сами дома кажутся мрачнее, улицы не так тщательно убраны: повсюду лозунги на немецком языке.

— Восточный сектор, — улыбаясь, говорит Кармон.

Кармон хорошо знает восточный сектор. Он часто обедает здесь у своих товарищей или покупает подарки для парижских подруг. На восточные марки все стоит дешевле. К тому же вещь, купленная по ту сторону железного занавеса, приобретает особую ценность в глазах того, кому ее даришь, а сам дарящий, несомненно, повышает свой престиж: такая вещь выглядит гораздо менее банально. Во Франции Кармон неизменно пользуется успехом у друзей, рассказывая им о восточной зоне с видом знатока, свободного от предрассудков. На деле его наблюдения весьма поверхностны, но два-три забавных анекдота, которыми он приукрашивает свои истории, вполне оправдывают укрепившуюся за ним славу блестящего рассказчика.

Такси останавливается у массивного, прочного дома, построенного еще до первой мировой войны. Входная дверь открывается при помощи электрической кнопки, но освещение на лестнице испорчено.

— Спички! — требует Беллами.

Протягивая коробок, Кармон отмечает про себя, что Беллами мог бы все-таки добавить «пожалуйста». Но сейчас не время разыгрывать из себя посетителей светских салонов. Кармон сам высмеивает себя за формализм. Американец чиркает спичкой, находит список жильцов: «Дора Керн... пятый этаж».

Минуту спустя Дора Керн, которая спит рядом со своим возлюбленным, услышав стук в дверь, быстро поднимается с постели. Она еще очень молода и поразительно красива. Волнение ей очень к лицу. Но Сирне не замечает этого. Его мысли направлены совсем в другую

сторону. Часы показывают шесть часов пятнадцать минут: для молочниц слишком рано, значит — полиция. Француз соскакивает с постели; он не оформил свое пребывание в восточной зоне, и в этот ранний час галантное приключение едва ли будет подходящим объяснением для народной полиции: эти парни не понимают романтики. Сирне, полуодетый, бежит в другую комнату, расположенную в глубине. Он и Дора уже заранее предусмотрели возможность побега через окно и даже набросали план.

— Скорее, — шепчет Дора.

В дверь стучат все сильнее и настойчивее.

— Меня выдала соседка, уверена в этом.

Сирне открывает дверь на балкон из второй комнаты. Он заканчивает свой туалет на свежем воздухе, даже не замечая, как холодно на улице.

Он долго изучал, как ему скрыться в случае опасности: одним прыжком он может очутиться на крыше соседнего дома, а спуститься оттуда во двор — просто детская забава. Выжидая, пока он жмется к стене, Дора закрывает стеклянную дверь балкона. Идет в ванную за халатом, кое-как набрасывает его на плечи и медленно направляется к двери.

— Кто там?

— Откройте, — говорят два требовательных голоса.

— Что вам надо?

В ответ раздается новый, еще более сильный стук. Боясь, как бы шум не поднял на ноги весь дом, Дора решается открыть. Беллами и Кармон врываются в квартиру.

— Господин Сирне?

Дора разыгрывает крайнее изумление.

— Не знаю такого. Вы ошиблись адресом.

— Вы Дора Керн? — спрашивает Кармон.

— Да, ну и что же?

— Не бойтесь ничего, Сирне сам сказал мне, что будет здесь.

Но Дора опасается полицейских уловок. Она стоит на своем:

— Не понимаю, о чем вы говорите. Повторяю вам, я одна дома.

Беллами в свою очередь вмешивается в разговор.

Он говорит по-английски, но для большей вразумительности вставляет немецкие слова.

— Прошу вас, мадмуазель. Нам известно, что Сирне здесь. Мы должны во что бы то ни стало поговорить с ним по срочному делу.

Он хватает ее за руку, надеясь убедить. Дора резко высвобождается. Она находит, что наступило время разозлиться, повышает голос.

— Прошу вас оставить меня в покое, — говорит она сухо. — По какому праву вы врываетесь ко мне в дом? Господин по имени Сирне мне не известен.

Кармон, потеряв терпение, резко перебивает:

— Отлично известен. Я видел вас с ним на аэродроме сегодня вечером.

Он говорит достаточно громко, чтобы Сирне его услышал. Узнав голос товарища, Сирне барабанит пальцами по стеклу балконной двери. Услышав шум, летчики бросаются в другую комнату, Дора идет за ними. Сирне за стеклом делает знаки, требуя, чтобы его впустили. Дора выполняет его просьбу.

Едва войдя в комнату, Сирне начинает чихать. Он хочет что-то сказать, но напрасно старается открыть рот; все продолжает чихать, не в состоянии выговорить ни одного слова. Кармон хохочет. Но Беллами не видит в этом ничего смешного, беззаботность и легкомыслие Кармона раздражают его. Дора наконец поняла, что имеет дело не с полицией и что ее страхи напрасны. Успокоившись, она тоже начинает смеяться. Наконец Сирне что-то произносит. И все сразу выясняется. Да, ампулы, которые он вез из Парижа, у него. Он очень рад, что может передать их американцу. Пусть тот доставит их как можно скорее к месту назначения. Оба посетителя уходят с пакетом, и парочка снова укладывается в постель.

— Счастливчик этот Сирне, — замечает Кармон, спускаясь по лестнице.

Беллами молчит.

Такси ждет их у подъезда. Шофер, видя, что летчики выходят с каким-то свертком, с беспокойством спрашивает себя: зачем американский офицер мог приезжать в восточный сектор? Он убежден, что везет шпионов.

— В Темпельхоф.

Шофер трогает с места, но он отнюдь не успокоился. Что он скажет восточной полиции, если их арестуют? Как объяснить, что он здесь ни при чем? Бедняга шофер не может допрашивать пассажиров об их намерениях, прежде чем они сядут в машину. Вдруг ему приходит на ум, что его могут спросить, знал ли он, что везет американского офицера. Конечно, он не сумеет это отрицать: ведь клиент, которого он посадил в Темпельхофе, был в военной форме, а потом уже переоделся в отеле в западной зоне.

«И тем не менее, — спросят его, — вы привезли его в советский сектор? И вы утверждаете, что вы не соучастник?»

Шофер готов остановить машину. Он вежливо объяснит: господам следует взять другое такси: тот шофер ведь не будет знать, что везет американца. Но тут же новая мысль приходит ему в голову. Он сам живет в западной зоне. Офицер может разозлиться, запишет его номер, и беднягу Мишеля Лорбен снова потянут к ответу, но на этот раз с другой стороны: «Советский шпион, — скажут американцы, — пятая колонна». Если еще к тому же американца арестуют после того, как он выйдет из машины, кто сумеет его переубедить, что выдал не Мишель Лорбен? Да, трудно нынче немцу жить спокойно. И вот, как бывает в кошмарном сне, самые худшие опасения шофера сбываются.

Свисток. Он даже не заметил, как подъехали к демаркационной линии.

Шофер тормозит. Два народных полицейских подходят, заглядывают внутрь машины. Ведь вот при въезде в восточный сектор никто их не остановил, надо же так случиться, чтобы остановили теперь, когда в машине этот проклятый сверток.

— Что в этой коробке?

— Медикаменты, которые надо срочно отправить.

— Куда вы едете?

— В Темпельхоф.

— Ваши документы.

Так и есть, зацапали. Что делают здесь, в восточной зоне, французский летчик и американский офицер? Оба путано объясняют. Английский язык с примесью немецкого, на котором говорит Беллами, только портит дело. Кармон говорит только по-французски.

Полицейские садятся в машину.

— Вези в участок.

Шофер хотел бы объясниться, сказать что-нибудь в свое оправдание. Но полицейские ни о чем его не спрашивают: из осторожности он предпочитает промолчать. Ему лучше всего сидеть тихо и не напоминать о своем присутствии. Такси останавливается у комиссариата. Полицейские выводят из машины обоих летчиков. Беллами держит сверток в руке.

— Можешь ехать, — говорит полицейский шоферу. Мишель Лорбен, не сразу поняв, о чем речь, неподвижно сидит за рулем.

— Проваливай, говорят! — рычит полицейский.

На этот раз повторять не надо: машина рывком трогается с места и уносится на полной скорости.

В полицейском участке начальник выслушивает доклад о задержании Беллами и Кармона. Сам допрашивает арестованных. Предлагает им открыть пакет. Полицейские озадачены, вид ампул их смущает.

Американец нервничает:

— Вы, позвать начальник, ваш командир, хозяин... Мы, объяснить... звать переводчик... Он понимайт... Отшень важно... Отшень спэшно...

Он с отчаянием смотрит на стенные часы — семь часов. Полицейский пытается его успокоить. Предупреждены военные власти. Сейчас придет русский офицер. А пока пусть не волнуются и отдохнут на скамейке у входа.

Летчики уныло усаживаются рядом.

— Кофе? — предлагает полицейский.

— Ну что ж...

Время идет. Конечно, будь Беллами не так взвинчен, он мог бы заснуть; забыл бы и о сыворотке и о «Марии Соренсен». Хорошенькое дело, а в каком положении он оказался бы после? Что стало бы с его долгом? Карточный долг — долг чести, так, кажется, говорят. Как бы там ни было, Беллами не имеет ни малейшего желания кончать жизнь самоубийством. Если он не сумеет уплатить, то не заплатит, вот и все. Его исключат из клуба? Ну и что же! Велико несчастье! Никто не сядет с ним играть в карты? Ну, это едва ли. Игрок остается игроком. Если представится случай, никто из настоящих игроков не откажется составить ему партию. Станут говорить, что

он не расплачивается за проигрыш? Ну и пусть, пусть себе говорят.

Нет, с этой стороны Беллами трудно задеть за живое; его беспокоит самая возможность поражения, возможность проиграть то постоянное пари, которое у него заключено с жизнью. До сих пор он выкручивался. Плохо ли, хорошо ли, но всегда устраивал свои дела. Если на этот раз он проиграет, то, пожалуй, может сложиться впечатление, что счастье от него отвернулось, а если пропадет вера в удачу, то он потеряет веру в себя, а без веры в себя... Лучше не думать об этом. Он должен выиграть, и все тут. Поэтому Беллами не спит, не может уснуть.

Кармон, тот поминутно спрашивает себя, чего ради он вмешался в это дело. В отеле, где он остановился, было тихо и спокойно, никто не требовал от него, чтобы он сопровождал Беллами. Почему он за ним увязался? Из чувства долга или человеческой солидарности? Наедине с самим собой Кармон предельно откровенен: он увязался за американцем для того, чтобы назавтра хвастаться своим приключением, которое он сумеет расцветить и украсить интересными подробностями. На этот раз получится увлекательная история, если только все закончится хорошо: «Когда меня арестовали, красные...» Он, конечно, постарается быть объективным. «Я был задержан народной полицией, — скажет он, — но тем не менее должен признать...» В каждом из его рассказов постоянно звучит эротическая нотка. Это придает им известную пикантность. Так будет и на этот раз. В данном случае эротическая нотка — это Дора. Но что он мог бы рассказать о ней? Что, приняв Беллами и его за полицейских, она предложила им себя, надеясь избежать ареста? Нет, похоже на мелодраму, едва ли кто поверит. А ведь полицейских, когда им приходится стаскивать женщин прямо с постели, наверно соблазняют подобными предложениями. Кармон разглядывает полицейских, завидует им. Если бы он сумел стать их товарищем, сопровождать их... Для Доры Керн надо придумать другую версию. Вот! Это подойдет. Он вспомнил, что, когда Дора впустила их, в комнате было темно, она отдернула штору, и в окно проник лунный свет, который осветил ее и сквозь прозрачную ткань одежды обрисовал очертания фигуры. Кармон тогда не обратил на это особого внимания, ему

важно было отыскать Сирне. Теперь он может вышивать узоры по этой канве. Дора, — будет он рассказывать, — во время перепалки с ними стояла как раз у окна, и, пока она говорила, они могли разглядывать ее сколько хотели. Догадывалась ли она об этом? Женщины, которым он стал бы рассказывать эту сцену (он приберегал пикантные истории преимущественно для женщин), стали бы утверждать, что Дора прекрасно во всем отдавала себе отчет и что она надеялась таким образом убедить его и Беллами отказаться от настоящей цели их визита. «Вы так думаете?» — недоверчиво спросил бы Кармон. «Как вы наивны», — ответили бы они, возбужденные при мысли о том, что какая-то женщина поступила так, как им самим хотелось бы поступить и на что они не смели решиться. Иначе, как могли они так быстро прийти к выводу, что ей хотелось отдаться первому встречному, если сами бессознательно не желали бы этого?

Тяжелая черная машина застопорила у входной двери. Из машины вышел военный в форме капитана Советской Армии, коренастый, наголо обритый, в до блеска начищенных сапогах.

Беллами начинает объясняться с помощью переводчика.

Русский перебивает:

— Я в курсе дела. Речь идет о сыворотке для экипажа траулера «Мария Соренсен».

Беллами и Кармон застывают в изумлении.

Офицер с достоинством объясняет:

— Нас предупредила наша специальная радиостанция.

Кармон вступает в разговор:

— Поскольку вам известно, о чем идет речь, будьте любезны распорядиться, чтобы нам вернули пакет. Мы переправим его в Осло, оттуда самолет санитарной авиации доставит его на судно и сбросит на парашюте.

— Нет, месье.

Капитан произносит свой ответ сдержанно и спокойно.

Беллами и француз протестуют.

— Вы отказываетесь вернуть нам сыворотку?

— Отказываюсь.

— Почему?

— Она конфискована.

— Но однако... люди под угрозой смертельной опасности. Они ждут медикаменты.

— Знаю.

— И вы против того, чтобы сыворотка была им послана?

— Этого я не сказал.

Беллами выходит из себя:

— Не понимаю, что за шутки?

Офицер не отвечает, обращается к полицейскому:

— Отнесите пакет в мою машину.

Беллами неистовствует: все, что ему рассказывали о русских, просто чепуха по сравнению с этим! Русские — бандиты, враги цивилизации, скоты! Ему хочется выть от ярости, лезть в драку. Кровь приливает к голове. Он — американский гражданин, — вопит Беллами, — не допустит этого. Его не запугаешь! Советский офицер улыбается:

— Самолеты есть и у нас. И летают они быстрее ваших.

Этого Беллами не ожидал. С трудом проглатывает готовые сорваться с языка оскорбления, не находит что сказать. Смотрит на Кармона. Тот не может сдержать улыбку. Можно подумать, что это его забавляет. Американец сжимает кулаки: чему радуется этот идиот? С удовольствием закатил бы ему оплеуху. Беллами никогда не занимался политикой, но он вспоминает о спорах в кафе, ресторанах, во время его поездок по американским городишкам: повсюду велись разговоры об этих фальшивых европейских союзниках, состоящих на содержании у янки-налогоплательщика. Лучше было бы от них избавиться.

Машина с русским офицером трогается с места и уезжает, а Беллами все еще не может выговорить ни слова.

Народный полицейский хлопает его по плечу:

— Вы свободны.

Похоже, этот тоже издевается. Американец жалеет, что остается в долгу у полицейского. С каким удовольствием преподнес бы ему едкое словцо, — такое, чтобы тот к месту присох. Великие люди при подобных обстоятельствах произносят исторические слова. Так утверждают по крайней мере.

Беллами и Кармон выходят и бредут вдоль широкой

улицы, обсаженной деревьями. Город начинает просыпаться. Первые прохожие торопятся к остановкам метро и автобусов.

Сильный удар ноги, которым Беллами отбрасывает в сторону консервную банку, выводит француза из задумчивости. Банка с шумом катится по асфальту. Еще один удар ногой отсылает ее подальше на мостовую: Беллами отводит душу.

— Они разыграли нас, — ворчит он сквозь зубы. — Шайка подлецов... Подлецы... Подлецы.

Он еще долго повторяет все то же слово, единственное, которое приходит ему на ум. Он так смешон в своей бессильной ярости, что Кармон еле сдерживается, чтобы не рассмеяться ему прямо в лицо.

7 часов (по Гринвичу) на борту «Марии Соренсен»

Над Северным Ледовитым океаном встает заря. Рыбаки хлопочут у шлюпки. Все решено, они уходят. Шлюпка спущена на воду, припасы погружены, но на душе у людей неспокойно. Они знают, что дезертируют с корабля, бросают своих товарищей. Со временем паника несколько улеглась: рыбаки уже не так боятся болезни, как раньше. За последние несколько часов только один из них заболел, его отправили в барак для зараженных. Если бы решение пришлось принимать теперь, многие поколебались бы, но сейчас отступать уже поздно. Мишель и Франк командуют отправкой. За борт передают последний багаж.

Старый Петер бродит по палубе, он переживает подлинную драму: Петер не хочет уходить, но оставаться боится. Ларсен, делая вид, что его не интересует все происходящее на борту, заперся в каюте и не показывается.

Петер смотрит на товарищей глазами побитой собаки. Они стараются его не замечать. Наконец старик обращается к Мишелю: они всегда были друзьями. Он проявил минутную слабость, — ошибся, но не заслуживает, чтобы его бросали. Мишель не отвечает, как будто не слышит. Петер видит, что наступает минута, когда уже будет поздно, они уедут без него. Он приходит в ужас, стонет, молит, хнычет, по очереди обращается к каждому рыбаку. Смущенные, они не смеют за него вступиться. Наконец Франк грубо толкает его к шлюпке:

— Полезай. И не приставай больше.

— Спасибо. Ох, спасибо! Какой ты добрый!

— Полезай, говорят тебе, и перестань болтать как сорока.

Петер хотел бы попросить разрешение сходить за своим чемоданчиком, но, боясь, что Франк передумает, не решается отлучиться. Старик садится в шлюпку, и лодка отплывает, качаясь на свинцовых волнах. Капитан Ларсен выходит из каюты, некоторое время смотрит на удаляющуюся шлюпку, затем спускается по узкой лестнице и скрывается в бараке для больных.

7 часов 20 минут (по Гринвичу) в Париже

Беллами позвонил по телефону Холлендорфу, тот вызвал Париж. Советский самолет с сывороткой вылетел из Берлина в направлении на Осло. Остается поставить в известность норвежские власти о необходимости подготовки самолета к вылету для перевозки сыворотки на корабль.

— Хотите позвонить отсюда? — предлагает Корбье.

Доктор отказывается: звонить надо непосредственно из института Пастера — из госпиталя в госпиталь. Радиолюбители сделали свое дело. Теперь на сцену выступают официальные инстанции.

Мерсье прощается. Все трое смущены. Между ними уже установилось своего рода единодушие, а с этого момента они снова будут разобщены. Но их неловкость длится недолго. Слепой пожимает руку доктору, почти сердечно благодарит. Словно утро, принесшее с собой завершение всей эпопеи, навсегда разорвало узы, которыми связала их ночь. Странным образом все становится на свое обычное место. Мерсье пожимает руку Лоретте:

— До свидания, мадам.

Холодная фраза, безразличный голос. Он сам с изумлением вслушивается в свои слова. Лоретта отвечает ему в тон:

— До свидания, доктор, мне было очень приятно снова встретиться.

Мерсье говорит:

— Я позвоню вам.

Лукаво блеснули на мгновенье глаза женщины. По крайней мере ему так показалось. Она шепчет:

— Да, да, позвоните. Буду очень рада.

У него создалось впечатление, что Лоретта говорила с ним, как сообщница. По дороге в институт он, не переставая, думал об этом. Да, конечно, в ее словах и тоне скрыто определенное сожаление. То же самое испытывает и он, особенно когда припоминает, что могло быть между ними. Им обоим довелось прикоснуться к чему-то значительному, волнующему, необычайному, что предстояло пережить и с чем они больше никогда не столкнутся.

Они встретятся, он уверен в этом. Может быть, станут любовниками. Но их отношения будут уже не те, они уже не будут такими возвышенными, как были раньше. Им пришлось бы все время гнаться за ускользающим видением, миражом, пытаться воскресить бывшее почти полным взаимное понимание. Влекущее их друг к другу чувство, если бы они отдались ему, принесло бы им такую радость, которую в жизни не дано испытать дважды. Мерсье признается себе, что лучше все забыть, отказаться от желания искать встречи с Лореттой, не губить воспоминания, — оно только потускнеет, поблекнет от новых свиданий. Но ведь это же романтика, ему-то это известно так же хорошо, как и то, что не пройдет и двух часов, как он не стерпит и позвонит к Корбье. Привычная обстановка кабинета, казенная и бездушная, довершает его разочарования, рассеивая видения ночи.

В институте Мерсье вызывает по телефону Осло. В ожидании ответа из госпиталя просит принести кофе. Пробегая глазами газету, Мерсье макает в кофе печенье, и в это время раздается телефонный звонок.

Русские хорошо справились со своей задачей, благодаря их стараниям госпиталь в Осло уже оповещен. Самолет санитарной авиации ждет доставки сыворотки на аэродром. Во всех странах Северной Европы, от Дюнкерка до Копенгагена, от Глазго до Осло, все радиостанции пытаются установить связь с «Марией Соренсен».

7 часов 30 минут (по Гринвичу) в Брауншвейге

Офицеры проснулись.

Как только лейтенант Беллами вернулся на аэродром, его вызвали к капитану. Вытянувшись, он выслушивает выговор начальства:

— Пятнадцать суток ареста за опоздание на поверку.

Что за чепуху он несет? Какая поверка? Беллами ничего не понимает. Его проступок гораздо серьезнее. Он считает своим долгом честно поправить.

— Я был в Берлине, господин капитан.

Он собирается рассказать, как сел в военный самолет, не имея на то никакого права, как сам сочинил для себя приказ, но капитан Хиггинс в ярости кричит на него:

— Вас не спрашивают. Потрудитесь не прерывать меня, когда я говорю!

Капитан все говорит, но Беллами уже не пытается прерывать. С безграничной нежностью разглядывает он красные уши, одутловатые щеки, низкий лоб, глубоко сидящие глазки и багровый нос капитана. Так, значит, этот обжора, этот старый балда Хиггинс, над которым смеются даже новобранцы, глупости которого передаются из уст в уста, постоянный объект для всяких шуток, в первый раз в жизни доказал, что и он может соображать, — яростно вращая глазами, весь побагровев, шумно сопя, как морж, капитан рычит, напрасно стараясь подавить гнев:

— Ловко получилось. Надо же так! Дать русским провести себя!

Беллами сам охотно закатил бы себе оплеуху.

— Никогда не прощу себе этого, капитан.

8 часов (по Гринвичу) в Осло

Неизвестный радист, служащий радиостанции морской службы в Осло, первый устанавливает связь с «Марией Соренсен».

Каждые пять минут повторяет, как ему приказано:

— Алло, КТК... КТК... слышите меня?

Внезапно из тишины возникает голос:

— Говорит КТК... КТК. Слушаю вас.

Радист произнес позывные официальным тоном. А в голосе, который он слышит, чувствуется тревога.

— Примите известия, — говорит служащий. — Сыворотка послана.

Ответа нет. Радист продолжает:

— Не бросайте прием. Держите связь со мной. Я сообщу вам об отправлении санитарного самолета, который доставит вам лекарство.

8 часов 05 минут (по Гринвичу) на борту «Марии Соренсен»

Из окна рубки Ларсен смотрит на удаляющуюся шлюпку. Видна только черная точка на горизонте. Он хватает рупор и выходит на палубу. Изо всех сил кричит:

— Связь налажена. Сыворотка в пути! Возвращайтесь назад!

Но его не слышат, лодка слишком далеко.

В бинокль капитан видит, как рыбаки налегают на весла.

Ларсен бегом спускается в складское помещение, роется в шкафу. Находит наконец два флага и поднимается на палубу. Бешено размахивает флагами, но старания его напрасны, беглецы его сигналов не видят. Вдруг капитана осеняет мысль: сирена.

Пронзительный гудок прорезает воздух...

На этот раз рыбаки услышали. Останавливаются. Теперь их очередь смотреть в бинокль. Капитан, стоя на палубе, снова размахивает флагами.

— Еще насмехаться вздумал, — ворчит Франк.

Но люди, которые долго плавали с Ларсеном, знают, что он не стал бы себя утруждать зря.

— А сирена-то неспроста.

— Что-то тут есть.

— Важное дело, пожалуй.

Петер предлагает:

— Может, повернем?

Мишель испепеляет его взглядом. Старик сразу падает духом. Но мысль уже подхвачена другими.

— А чем мы рискуем? Послушаем, что он скажет.

— Не может же он заставить нас вернуться на судно, если мы этого не захотим.

Мишель возмущается:

— Он боится за судно, вот и все. Один он не может маневрировать, а больные ему не помощники.

— Может, он с нами уехать хочет.

Эту мысль подсказала кому-то неспокойная совесть; но никто не считает Ларсена способным так внезапно

менять свои решения. Спор продолжается еще несколько минут. Но если многие уже допустили мысль о возможности возвращения, значит, к ним примкнут и остальные. Против всякого ожидания, Франк в конце концов присоединяется к мнению большинства, и шлюпка направляется к судну. Капитан видит, что шлюпка повернула обратно. Он проходит по палубе, входит в барак к больным. Те услышали гудок сирены, но не поняли, что означает этот сигнал. С тех пор как их товарищи оставили судно, больными овладело отчаяние. Они не стонут, не жалуются, ждут смерти.

Ларсен подходит к сыну.

— Связь восстановлена. Самолет уже вылетел, скоро доставит сыворотку.

Олаф слабо улыбается:

— Поздно будет.

— Нет, совсем не поздно. Ты выздоровеешь, вы все выздоровеете. Вы спасены, через час будете на ногах.

Больные приподнимаются на постелях, не сразу могут осознать, что появилась надежда на спасение.

— Почему все ушли с траулера?

— Потому что дурни. Но они услышали сирену и возвращаются.

Голова Олафа снова падает на подушку, взгляд мутнеет, руки дрожат. Отец отводит глаза и выходит. Но кризис миновал, Олаф вне опасности. Ларсен берет себя в руки, выходит на палубу. Что он должен сейчас делать? Только ждать. В нетерпении смотрит на небо. Нет, еще слишком рано, самолет не может прибыть так скоро. Шлюпка тем временем приближается, скользя по гладкой поверхности моря. Бунтовщики возвращаются на судно, все входит в свою колею. Он снова капитан, единственный хозяин на борту после бога. Ночью произошел разрыв, нарушилось равновесие в его отношениях с людьми. Они вышли из-под его власти. Ларсен не может ставить им это в упрек. Это его вина: не сумел сохранить авторитет. Испугался за сына, отпустил вожжи.

Теперь наступает день. Утренний свет рассеивает ночные недоразумения. Чтобы снова почувствовать себя полновластным хозяином, капитан обходит судно. В кубрике полный беспорядок, свидетельствующий о стремительной поспешности беглецов. Только один чемодан валяется на койке: Петер не успел взять его с собой. Голые койки

больных без тюфяков усиливают впечатление катастрофы.

Ларсен, то и дело натыкаясь на разные вещи, узлы, одежду, разбросанную прямо на полу, проходит по коридору в трюм, в машинное отделение. Везде он находит следы безумия, охватившего людей: шкафы опустошены, запасы разграблены.

Когда шлюпка причаливает, Ларсен еще в трюме. Не видя его на палубе, рыбаки нерешительно поднимаются на судно. Кое-кто взобрался уже на палубу, когда капитан появился на верху лестницы, ведущей из трюма. Молча смотрит, как медленной процессией, один за другим, рыбаки поднимаются по трапу. Знают, что виноваты, и даже не пытаются оправдываться. Они дезертиры, а дезертиров не милуют. Капитан подходит к кучке рыбаков, сгрудившихся на палубе. Люди расступаются, чтобы дать ему пройти, и когда он останавливается перед зачинщиком Мишелем и Франком, от них отшатываются, как от зачумленных.

Ларсен смотрит в упор на повара:

— Ты устроил все это из-за кота?

Тот еле заметно, утвердительно кивает. Капитан поднимает руку и со всего размаху, несколько раз подряд бьет Мишеля по лицу. Тот стойко выносит наказание. Наступает очередь Франка. Виновные принимают удары с невозмутимой пассивностью. Они знают, что виноваты, у них нет оснований возмущаться. Они вполне заслужили такую расплату. Если бы им пришлось объяснить свой поступок, они сказали бы, что и сами не понимают, как осмелились на такую выходку. Побои они принимают как должное, побои — это признак того, что все входит в норму, припадок безумия прошел. Кроме того, они слишком долго жили с Ларсеном и, зная его, смутно чувствуют, что в конце концов он простит их. В действительности, если Ларсен собирается их простить, то делает это вовсе не из снисходительности, а потому, что в глубине души чувствует себя немного виноватым: главная обязанность капитана — не терять рассудок, сохранять хладнокровие, держать людей в руках.

— Отправить их в трюм.

Десяток рук толкают Мишеля и Франка к лестнице. Они не оказывают никакого сопротивления. На борту снова водворяется порядок.

8 часов 20 минут (по Гринвичу) в Осло

В аэропорте в Осло разыгрывается одна из последних сцен эпопеи, начавшейся с призыва, брошенного по радио с «Марии Соренсен» и принятого в Африке. В ней участвуют лица, не связанные интересами с участниками событий минувшей ночи.

Летчик Советской Армии получил приказ: он должен доставить пакет с медикаментами в Норвегию и передать его на санитарный самолет. О прибытии самолета известно заранее. Его ждут. В полете летчик напевает все время. Навязчивый мотив, — он слышал его накануне в одном берлинском кафе и никак не может от него отделаться. Сто, двести, много раз подряд повторяет он одно и то же место. Слов песни он не знает и придумал свои русские слова. Получилось не очень содержательно, но вполне подходит к мотиву, а больше ничего и не требуется. Он очень доволен своей жизнью и больше всего на свете любит две вещи: музыку и механику. С тех пор как стал летчиком, он нашел свое счастье.

От Берлина до Осло недалеко. Вскоре внизу, под советским самолетом, ясно проступает большой четырехугольник аэродрома.

Советский летчик вручает драгоценный пакет служащему Красного Креста, небольшого роста, усатому человечку. От долгого ожидания на воздухе он простудился, его одолевают кашель и насморк. Он передает пакет пилоту санитарного самолета. Пока летчик укладывает пакет в водонепроницаемый контейнер и заводит самолет, служащий Красного Креста спешит в бар, заказывает горячий грог. Потирая руки, жмется к печке, пытаясь согреться. Один из его товарищей предлагает закурить, он сначала отказывается, но потом, передумав, затягивается в надежде согреться. Но напрасно, папиросы вызывают только новый приступ кашля. От участия в операции по спасению рыбаков у него в памяти останется только длительное ожидание на ветру, крепкий грог, вызывающий слезы на глазах, и насморк, от которого он тупеет. Вот и все.

Летчику санитарного самолета столько же лет, сколько советскому летчику, — двадцать семь. Он тоже блондин. У них примерно одни и те же вкусы: механика, музыка, танцы. Но норвежец Свен — пацифист, социал-

демократ, увлекается политикой и даже занимается профсоюзной работой. Свен с молчаливым неодобрением разглядывает машину русского — «МИГ», но в силу своих пацифистских убеждений он не испытывает враждебности, а всего лишь обычное недоверие. Ему хотелось бы поговорить с советским пилотом, но оба не располагают временем. Свен должен сейчас же лететь и сбросить сыворотку на корабль. Трудное задание, но он справится, так как ему уже неоднократно приходилось выполнять такие поручения.

8 часов 30 минут (по Гринвичу) в Неаполе

С установлением нормальной радиосвязи реле стали не нужны.

Полицейский разбирает приемник. Комиссар Ипполито собирается увести дона Доменико.

— Куда вы его везете? — протестует Кармела.

— Куда же еще — в тюрьму, конечно.

Кармела становится у двери, решительно загораживает полицейским путь:

— Вы не сделаете этого.

— Сначала спрошу у тебя разрешения, — ворчит комиссар, пытаясь отстранить ее.

— Только благодаря ему вы спасли людей на корабле.

— Пусть вызовет их свидетелями в суд.

Отец с невозмутимым спокойствием присутствует при этой тягостной сцене. Это его обычный метод: если он не может утопить противника в потоках своего красноречия, то надевает маску благородного достоинства. Дон Доменико меряет презрительным взглядом полицейских, которые пытаются оттащить от двери Кармелу. Она нападает на них, цепляется за притолоку двери, царапается, ругается. Мужчины очень довольны, что могут наконец дать волю рукам, — девчонка всю ночь вела себя вызывающе. Они жмут Кармелу, тащат, ощупывают всласть. Она отбивается, полицейские рады потормошить ее еще немного. Борьба больше походит на веселую дружескую возню, чем на драку. Наконец им удается ее оттолкнуть. Д'Анжелантонио спускается по лестнице вслед за комиссаром. Но от Кармелы не так легко отделаться. Растрепанная, запыхавшаяся, она идет за

ними, не переставая кричать им вслед, призывая в свидетели соседей, которые выходят из своих квартир на лестницу и во двор.

— Они уводят отца! Он не виновен! Он только ответил кораблю на призыв о помощи. Благодаря ему рыбаков спасли, а теперь его арестуют.

Полицейские, привыкшие к протестам, не слушают ее. Толкают арестованного к машине. Но небольшая группа людей в халатах, домашних шлепанцах и бигуди волнуется.

— Что со мной будет? — стонет Кармела, ломая руки точь-в-точь, как это делают героини кинофильмов.

— В самом деле, что станет с этой малюткой? — поддерживает какая-то сострадательная кумушка.

Присоединяются другие голоса:

— Дон Доменико честный человек.

— Мы все его знаем.

— Вы не можете арестовать доктора.

— Он ничего не сделал.

— Заткнитесь, — орет комиссар. — Вас не спрашивают.

Грубый окрик восстанавливает тишину. Кармела меняет тактику. Бросается к ногам Ипполито.

— Простите его, господин комиссар, он больше не будет. Обещаю вам.

Соседи хором поддерживают:

— Простите его.

Ипполито пытается поднять девушку. Она не хочет сдвинуться с места; полицейскому это начинает надоедать.

— Я не могу ничего сделать.

— Если захотите — сможете. Вы начальник.

Снова все хором вступаются:

— Если захотите — сможете. Оставьте его на свободе.

— Эй, вы, чего суетесь? — вопит комиссар.

Но полицейские, которые собирались посадить «доктора» в машину, начинают колебаться. Доменико, который до сих пор не вмешивался, считает, что настал момент выступить на сцену. Как превосходный актер, он говорит торжественно, искренним тоном:

— Даю вам слово, господин комиссар, никогда больше не пользоваться приемником.

— Интересно, как мог бы ты им пользоваться? — издевается полицейский. — Ты воображаешь, что я тебе его оставлю?

Но «доктора» не собьешь. Он невозмутимо продолжает:

— Для меня приемник был удовольствием и отдохновением в моей печальной жизни, но если вы подозреваете, что радиопередатчик может служить для осуществления незаконных целей, то я предпочитаю сразу положить конец вашим подозрениям...

— Ладно, — обрывает его Ипполито. — А разрешение-то у тебя было?

— Нет.

— Прекрасно, конфискую у тебя приемник и влеплю тебе штраф.

Дон Доменико еще не понял. Он хочет продолжать речь в свою защиту, но немного сбит с толку сердитым и в то же время ироническим выражением комиссара. Кармела сообразила быстрее отца, она кричит:

— Спасибо, господин Ипполито! — и целует ему руку. На этот раз она благосклонно позволяет помочь ей подняться с колен. Полицейский похлопывает ее по щеке, отеческая ласка. Но Кармелу не проведешь, она улыбается понимающей улыбкой.

— Какой милый, — комментируют соседи.

Ипполито, раздосадованный, что не смог лучше скрыть свои чувства, поворачивается к Кармеле спиной.

— Увидите, какой я милый, — ворчит он, садясь в машину. — Попадитесь мне только... в другой раз, когда не будет кораблей, терпящих бедствие.

Все полицейские уселись в машину, она трогается.

Доменико следит за ней взглядом, пока она идет по двору, продвигаясь в толпе, и исчезает на улице. Тогда он выпрямляется во весь рост и тоном благородного отца приказывает дочери:

— А теперь домой... Ну-ка!

Бросив Дженаро лукавый взгляд, она послушно направляется к дому. Соседи подходят, молча пожимают руку доктору, он благодарит их сердечно, с достоинством.

Дон Доменико знаком подзывает Дженаро, который все время держался немного в стороне, кладет руку ему на плечо.

— Придешь ко мне завтра.
К соседям:
— Представляю вам жениха Кармелы.

8 часов 35 минут (по Гринвичу) в Зобре

Машина Дорзита останавливается у хижины Луазо. С момента въезда в деревню джип продвигается очень медленно, в сопровождении все увеличивающейся толпы. Оттесняя зевак, впереди идет жандарм. Этьен выходит из автомобиля. Сейчас же начинается давка. Родственники, друзья, знакомые, соседи окружают его. Обнимают. Жмут руку. Поздравляют. В дверях его мать и теща, полдюжины беззубых сияющих старух подносят ему ребенка. В хижине роженица улыбается ему, тут же строит гримасы колдун. Со всех сторон раздается смех, пронзительный свист, крики, царит радостная суматоха, воскрешающая древние африканские обычаи.

— Девочка,— говорит мать. — Как ты ее назовешь?

— Мария Соренсен.

Старухи протестуют, все говорят одновременно:

— Мария — это имя, а Соренсен — ничего не значит.

Но Этьен непоколебим:

— У нее будет двойное имя — Мария Соренсен.

Дорзит идет к себе домой, но сейчас же возвращается обратно. Прокладывает себе путь в толпе туземцев и берет Этьена за руку:

— Иди сюда, макака...

Уводит его к себе. Луазо идет за ним, ничего не понимая.

Плантатор приводит его в спальню, показывает на приемник:

— Слушай, о нас говорят по радио.

Диктор как раз объявляет:

— Сегодня ночью рыболовное судно, находившееся в Ледовитом океане, «Мария Соренсен»...

8 часов 36 минут (по Гринвичу) в Брауншвейге

Уютная комната с тяжелой мебелью. Кресла, обитые темным бархатом, плотные обои, черное дерево. Всякие безделушки, уродливые все, как на подбор. Беллами в пижаме. Вставать незачем, он арестован. Горы окурков

в пепельницах, повсюду разбросаны иллюстрированные журналы. На ночном столике детективный роман открыт на двадцатой странице. Беллами небольшой любитель чтения. На письменном столе поднос, на нем обильный завтрак: яичница, бекон, хлеб, масло, молоко, кофе. Беллами наливает себе чашку; обжигает палец кипятком, морщится. В дверь стучат.

— Войдите, — говорит офицер громовым голосом.

Входит денщик; у него лукавая физиономия нью-йоркского мальчишки. Он отдает честь, вручает письмо. Беллами берет конверт и высокомерно приказывает:

— Можешь идти.

Вскрывает письмо. Большими буквами написано только одно слово: «Квиты». Четыре подписи.

Беллами пожимает плечами. Разве он действительно выиграл пари? А в общем, неважно. Он знал, что товарищи откажутся от своего долга. А так как он ожидал этого, известие не доставляет ему удовольствия. Никакого облегчения он не чувствует, потому что его уже перестал заботить этот долг. Чем заняться, если нужно высидеть дома две недели? Беллами подходит к окну, смотрит на улицу, разглядывать прохожих совсем неинтересно и неприятно. Едва ли можно рассчитывать, что это зрелище способно разогнать скуку.

Беллами снова подходит к кровати. Поспать разве? В общем, это единственное, что остается — спать все пятнадцать суток. И пить. Он открывает шкаф: осталось четыре бутылки виски. Немного, придется купить еще.

Включает радио, диктор читает сообщение, которое в это же время слушает Дорзит в далеком Конго:

— ...Им нужна была срочная медицинская помощь. К несчастью, ни одна из ближайших радиостанций не слышала их. Капитану Ларсену пришлось пережить много тревожных часов, прежде чем...

8 часов 37 минут (по Гринвичу) в Брауншвейге

— Поторапливайся, Ганси! — кричит отец.

Разговаривая с ребенком, Холлендорф принимает особенный тон, немного наставительный, в котором слышатся невысказанные упреки, — родительский тон.

— Я готов, — говорит малыш, появляясь на пороге.

— Где твой ранец?

— Здесь.

Пока Ганси шнурует ботинки, отец проверяет книги, тетради, спрашивает:

— Тебе не очень хочется спать?

— Хочется немного.

— Надеюсь, тебя не спросят сегодня. Ты можешь сказать учителю, что ночью тебе пришлось заниматься важными делами...

— Не беспокойся. Я знаю уроки, отвечу как-нибудь.

— Тогда иди. Не то опоздаешь.

Ганси натягивает пальто, сует ранец под мышку.

— Завтракать мне некогда.

— Возьми хотя бы бутерброд.

Хлеб с маслом лежит на маленькой тарелочке. Ганси берет бутерброд, целует отца и выходит.

— Осторожно переходи улицу, — наставляет отец.

Ганси не отвечает. Надоело. Отец повторяет то же самое каждое утро.

Занятые этой маленькой ежедневной церемонией отправления в школу, ни отец, ни сын не слушают радио. А по радио диктор рассказывает об их подвигах:

— ...радиолюбители, установив реле от Африки к Франции, от Германии к Норвегии, образовали таким образом замечательную цепь человеческой солидарности...

8 часов 38 минут (по Гринвичу) в Париже

В квартире Корбье включен приемник. Слепой и его жена еще не спят. Сидя в креслах, слушают.

— Пришлось установить связь с институтом Пастера. Доктор Мерсье связался по радио...

Муж с усилием поворачивает голову. С тех пор как Мерсье уехал, он и Лоретта не обменялись и десятью словами. Но их снова окружает привычная для них атмосфера, одиночество с глазу на глаз, на мгновение нарушенное присутствием постороннего. Оставит ли этот ночной эпизод какие-нибудь глубокие следы в их жизни, не нарушит ли неустойчивое равновесие их существования? Он оставит свои следы, это несомненно, но смогут ли они примириться с присутствием этого нового фактора в их жизни, даже если острота его притупится, сгладится со временем? Для этого нужно знать, во что выльется

эта новая ситуация. Образ Мерсье, встав между ними, может явиться для мужа поводом для постоянных сцен ревности, оружием, которым он будет пользоваться, чтобы мучить жену, острой приправой в их повседневных отношениях. В романтическом воображении Лоретты он может стать нежным любовником, утонченным и страстным, послушным героем ее самых смелых мечтаний.

Сейчас еще все возможно, судьба не сказала своего последнего слова.

На чем угодно будет остановиться судьбе? Придется ли нам увидеть, как муж в бешеной ревности принуждает жену порвать с любовником, убьет ли он доктора, или, наоборот, окажется покладистым мужем, которого будут только возбуждать тайные переживания, нарушающие их однообразное существование? Можно также представить себе, как Лоретта, уступив и сейчас же пожалев о своей слабости, вымаливает прощение у мужа, или, безумно влюбленная, убегает к любовнику, или спокойно и почти открыто, наслаждаясь своим счастьем, делит себя между мужем и любовником.

Ни один из них не может, конечно, смотреть на вещи с такой грубой откровенностью. Они думают об этом, но на полпути их останавливают всевозможные табу, не давая точно определиться их переживаниям.

— Лоретта, —вдруг спрашивает муж, — что же все-таки произошло между вами тогда, когда ты проводила лето вместе с Мерсье?

— Ровным счетом ничего.

— Флирт все-таки был?

— Кажется, он ухаживал за мной. Может быть, был немного влюблен.

— И это все?

— Все. Клянусь тебе. Тогда мне не нравился ни один мужчина.

Она счастлива, что может быть до такой степени откровенной. Если бы вопрос касался ее настоящих чувств, ей пришлось бы быть более сдержанной. Но он не спрашивает ее об этом. Вероятно, потому что не уверен в ответе. В смущении Лоретта делает неловкое движение и задевает за шнур приемника; слышится треск. Поль с раздражением замечает:

— Не трогай приемник, пожалуйста.

Наступает молчание, прерываемое голосом диктора:

— В данный момент дело находится в руках властей. К кораблю, терпящему бедствие, со всех сторон спешит помощь.

8 часов 39 минут (по Гринвичу) в Париже

В институте Пастера за дело взялась администрация. Роль Мерсье окончена. Ему остается только лечь спать после бессонной ночи.

По пути его останавливает заведующий хозяйством института:

— Мне нужно поговорить с вами, доктор.

Мерсье идет за ним в канцелярию. Ему не часто приходится иметь дело с этим узкоплечим человеком, еще не старым, с помятым лицом, одетым неизменно или в слишком короткое, или в слишком длинное платье; о нем говорят, что он активный член одной крайней правой партии. Иногда в институте его посещают какие-то личности и санитары, которые расходятся с ним в политических взглядах, относятся к нему с подчеркнутой враждебностью. У заведующего хозяйством смущенный вид:

— Прошу прощения, доктор. Это чисто служебная формальность. Сегодня ночью вы выдали сыворотку. Как мне пометить об этом в отчете?

Мерсье возмущен, но не успевает ответить — заведующий хозяйством опережает его:

— Я все знаю, доктор. Все только об этом и говорят. Ваш поступок можно понять. Но войдите в мое положение, я тут ни при чем, есть же правила. Не я их выдумал и не вы, разумеется. Раз они существуют, я обязан их выполнять. И главным образом следить за тем, чтобы они выполнялись.

— По правилам, я не должен был отсылать сыворотку больным?

— Я не это хотел сказать. Вы отправили ее не обычным путем, не по правилам, не через экспедицию. Я понимаю, вы не могли поступить иначе, она была бы доставлена слишком поздно. Но вам пришлось передать ее лицу, которое до некоторой степени является лицом частным, неофициальным. Вы понимаете, что я хочу сказать?

— Я не имел права это сделать?

— Да нет же, нет, вы имели полное право. Но только это лицо должно было заплатить.

— Так ведь это же не для него...

— Согласен, не спорю. Этому лицу могли бы дать расписку, по которой оно могло бы получить в дальнейшем свои деньги обратно. А для администрации у меня на руках были бы два документа. Это было бы по правилам. Но, конечно, если вы не хотите...

— Кто вам сказал, что я не хочу?

Мерсье вынимает из кармана бумажник. Немного позже, уже уходя, шарит в кармане своего пальто, находит там записку, которую ему сунула Лоретта. Читает: «Спасибо». Рвет ее, скатывает из нее шарик, бросает на улицу в грязь.

И у него вдруг появилось ощущение, что нелепое крохоборчество заведующего хозяйством уничтожило его роман с Лореттой. Конечно, он позвонит ей завтра, может быть даже сегодня, но все придется начать сначала. Все, что оставалось от ночных грез, исчезло вместе с этим клочком бумаги.

8 часов 45 минут (по Гринвичу) на борту «Марии Соренсен»

Пилот санитарного самолета не переставая жует резинку, которую всегда носит в кармане.

Над серым однообразным морем там и сям тянутся клочья тумана. Вот уже самолет находится как раз над «Марией Соренсен», рыболовным судном, которым в эту минуту заняты все радиостанции мира.

Раньше всех на палубе самолет заметил наметанным глазом старик.

Он сказал об этом товарищам, все вышли наверх, подают сигналы.

Летчик вызывает:

— Капитан Ларсен. Сейчас сброшу сыворотку. Готовы ли вы?

— Готов.

— Внимание!

Самолет снижается, делая круги. Летчик намерен пролететь над палубой. Парашют готов. Летчик проверяет ремешки, которыми застегнут контейнер.

На палубе экипаж с тревогой следит за действиями самолета. Наблюдают, как он спускается все ниже, ниже. Вот остается уже триста метров, двести, сто, пятьдесят. Внезапно от него отделяется парашют, раскрывается, начинает плавно спускаться. К парашюту крепко привязан груз: ампулы с сывороткой. Дверь барака открылась. Больные подтащились к самой двери; они хотят собственными глазами видеть, как прибывает пакет, который несет с собой конец долгому, тревожному ожиданию.

— Капитан, — говорит летчик, — я возвращаюсь. Что передать на базу?

— Скажите им спасибо. И спасибо всем, кто помогал нам.

СОДЕРЖАНИЕ

ЖАК РЕМИ

„Если парни всего мира...“

Редактор *Е. Неклюдова*
Художеств. редактор *Д. Ермоленко*
Технический редактор *Д. Мухин*
Корректоры *Н. Манушина*
и *М. Фридкина*

Сдано в набор 1/IV 1957 г.
Подпис. в печать 4/VII 1957 г. А04158.
Бум. 84×108[1]/[32]. 5 печ. л.=8,2 усл. печ. л.
8,02 уч.-изд. л.
Тираж 315 000. Цена 2 р. 40 к.
Заказ № 2006

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности. 4-я тип. им. Евг. Соколовой
Ленинград, Измайловский пр., 29.

2 р. 40 к.